



Анатолий Рыбаков

Тяжелый песок

ФТМ



Анатолий Рыбаков

Тяжелый песок

«ФТМ»
1975-1977

Рыбаков А. Н.

Тяжелый песок / А. Н. Рыбаков — «ФТМ», 1975-1977

ISBN 978-5-457-07212-1

Любовь героев романа Анатолия Рыбакова – Рахили и Якова – зародилась накануне мировой войны. Ради нее он переезжает из Швейцарии в СССР. Им предстоит пройти через жернова XX века – страдая и надеясь, теряя близких и готовясь к еще большим потерям... Опубликованный впервые в «застойные» времена и с трудом прошедший советскую цензуру, роман стал событием в литературной жизни страны. Рассказанная Рыбаковым история еврейской семьи из южнорусского городка, в размеренную и достойную жизнь которой ворвался фашистский «новый порядок», вскрыла трагедию всего советского народа...

ISBN 978-5-457-07212-1

© Рыбаков А. Н., 1975-1977

© ФТМ, 1975-1977

Содержание

1	5
2	14
3	22
4	29
5	35
6	45
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Анатолий Рыбаков

Тяжелый песок

И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее.

Бытие, гл. 29, ст. 20.

1

Что было особенного в моем отце? Ничего. Правда, он родился в Швейцарии, в Базеле, в нашем городке не так уж много уроженцев Швейцарии. Говоря точнее, им был только мой отец.

В остальном – обыкновенный сапожник. Плохой сапожник. Его отец, мой дедушка, был в Базеле профессором медицины, а братья, мои дяди, – докторами медицины. И моему отцу тоже следовало стать доктором медицины. Но он стал сапожником, и, как я уже сказал, неважным сапожником.

Мою фамилию вы знаете – Ивановский. Мой отец тоже был Ивановский, дедушка из Базеля – Ивановский, дяди – Ивановские и кузены, те, что сейчас живут в Базеле, – тоже Ивановские. Может быть, там они не просто Ивановские, а какие-нибудь перелицованные на немецкий лад, скажем Ивановски. Но, как ни поворачивать, остается Ивановский. Мой прадедушка родился в селе Ивановке, а тогда был обычай давать фамилию по названию города, деревни или местечка, откуда ты родом. Прадедушка был человек состоятельный, и когда его единственный сын, то есть мой дедушка, окончил гимназию, послал его учиться в Швейцарию. Дедушка окончил университет в Базеле и там же, в Базеле, женился. Женился на дочери врача, владельца большой клиники. Тесть умер, клиника перешла к моему деду, а после него к его двум старшим сыновьям, моим дядям. Отец мой тоже был наследником, имел право на часть клиники, но он не был медиком, жил не в Базеле, а в России, ничего для клиники не сделал и ни на что не претендовал.

Итак, у моего дедушки Ивановского было три сына... «У старинушки три сына, старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак...» Не знаю, был ли мой старший дядя умнее среднего, не думаю. Оба окончили университет, стали докторами медицины, владельцами одной из лучших клиник в Европе, значит, были не дураки. Что касается моего отца, то он тоже не был дурачок, но он не получил высшего образования, хотя возможностей для этого у него было не меньше, чем у его братьев. Отец был младший в семье, последний, мизиникл, как у нас говорят, то есть мизинец, самый маленький, а самый маленький – самый любимый. И из трех братьев он единственный был похож на мать, такую сублительную немочку. Старшие братья были в дедушку Ивановского, здоровые, знаете ли, бугаи. Вот фотокарточка: эти двое, в белых шапочках и белых халатах, старшие, видите, мясники. Впрочем, знаменитые на всю Европу хирурги, дело свое знали и делать его умели. А вот карточка моего отца: голубоглазый блондин, изящный, нежный и застенчивый красавчик, мамин и папин любимчик. Дедушка, профессор Ивановский, был деловой человек и вместе со старшими сыновьями был занят медициной, клиникой и пациентами, но жену свою любил и младшего сына, то есть моего отца, тоже любил. Звали моего отца Якоб – это по-немецки, а по-нашему Яков, и я, следовательно, Яковлевич, Борис Яковлевич Ивановский.

В общем, отец мой Якоб был младший, был любимчик, и его мама, моя будущая бабушка, старалась держать его при себе, ходила с ним гулять по Базелю, люди останавли-

вались, спрашивали, чей это и откуда такой ангелок. И моей бабушке было приятно, всякой матери приятно, когда любят ее ребенком.

Говорят, в девятнадцать лет мой отец был настоящий Дориан Грей. Что?.. Я тоже, наверно, был похож на Дориана Грея? Не думаю. Если я и был похож на Дориана Грея, то на того, который уже изрезал или порвал свой портрет. Но из всех братьев, а нас было пятеро, только я и самый младший, Саша, были похожи на отца, как видите, я блондин, и глаза у меня голубые, и рост сто семьдесят восемь сантиметров, как у отца. Остальные братья в мать, мать была крупная женщина, и братья высоченные – за сто восемьдесят сантиметров, костлявые, черные, как цыгане... Сколько вы мне дадите? Спасибо! А за шестьдесят не хотите? Представьте себе!.. Молодой я действительно был ничего... Не хочу преувеличивать, но факт остается фактом. Когда еще в парнях я работал сапожником, то самые шикарные дамочки требовали, чтобы именно я шил им туфельки, и когда такой шикарной дамочке я обмеривал ножку, то из этой ножки било электричество, даю вам слово!.. Но прошло, проехало, пролетело, и давайте вернемся к моему отцу.

Когда отец окончил колледж и готовился поступить в университет, возникла идея поехать в Россию, посмотреть родные места. Отчего и как возникла такая идея, точно сказать не могу. Отец завершил среднее образование, и решили, видимо, что неплохо ему перед университетом посмотреть на мир. И дедушка давно мечтал посетить места, где родился, где лежат в могиле его предки, одним словом – родину. И моя бабушка тоже, наверно, хотела доставить удовольствие своему любимчику. Ведь ее Якоб совсем не был похож на старших братьев: те деловые люди, практики, реалисты, а этот – мечтатель, романтик. Бабушка даже не была уверена, что он должен стать доктором, но раз уж так повелось в их роду – все доктора, – то пусть будет не хирургом, хотя бы терапевтом, а еще лучше – психиатром, вроде Фрейда.

На том решили, сдали документы Якоба в университет, а может быть, просто записали в университет, не знаю, как это делается в Швейцарии, все оформили и поехали в Россию: мой дедушка профессор Ивановский и мой будущий отец, красивый молодой блондин Якоб из города Базель, Швейцария. Было это в 1909 году.

Теперь представьте себе состояние молодого человека из Базеля, пересекающего Россию в 1909 году. Я не был в Базеле, не был в Швейцарии, но я почти два года был в Германии, в войну, в армии, и после войны в оккупационных войсках, и могу представить себе приблизительно, что такое Базель и что такое Швейцария. Красивая страна, Альпы, Женевское озеро... Но горы и озера есть и у нас и, наверно, не уступят ни Альпам, ни Женевскому озеру. Я вовсе не утверждаю, что Россия – красивейшая страна мира, и когда поют: «Хороша страна Болгария, но Россия лучше всех», то это для русского человека, а болгарину, я думаю, Болгария тоже не хуже других. Но, понимаете, когда молодой человек, девятнадцати лет, мечтательный, впечатлительный, приезжает из Швейцарии, едет день, два, три по России и видит из окна вагона бескрайние степи, и деревеньки на горизонте, и белые украинские хаты, и вишневые сады под горячим южным солнцем, и небо, полное звезд, и маковки церквей, и усатых украинцев, и украинок в ярких монахах... Это вам не чинный, добропорядочный Базель. И к тому же молодой человек знает, что здесь, в этих степях, родился его отец, и это не может не произвести на него впечатления. Возможно, у него не защемило сердце, как щемит оно у нас, когда мы возвращаемся на родину, как, наверно, защемило у дедушки, когда он почти через сорок лет снова увидел Россию. Но, повторяю, впечатление было очень сильным, он сам потом рассказывал, что не мог отойти от окна, не мог оторваться от наших просторов, тихих полустанков, ковыля, перелесков. Добавьте к этому, что ничего, кроме Швейцарии, он не видел, ехал к нам через Австрию, а в Австрии ничего особенно нового по сравнению со Швейцарией, я думаю, не заметил.

И вот в таком состоянии этот молодой человек идет по нашему тихому жаркому южному городу, идет по солнечной песчаной улице, где родился его отец, где жили его дедушка и бабушка: улица довольно широкая, как это бывает в степных городках, по обе стороны деревянные домики с голубыми ставнями, деревянные заборы с крепкими воротами, палисадники, тополя, и на улице никого нет, улица пустынна.

Все, конечно, знали, что сын покойного Ивановского приехал посмотреть родину и показать ее своему сыну, чтобы тот не забывал, откуда они родом, и, конечно, всем было интересно на них поглядеть. Но народ у нас деликатный, никто на улицу не вышел; люди не толпились, не глазели на то, как идут пожилой Ивановский с молодым Ивановским. Но все немного раздвинули занавески и смотрели на них потихоньку из окон; как ни говори, событие – люди приехали из Швейцарии посмотреть улицу, посмотреть дом, где жили их предки.

И только один человек вышел на улицу, только один человек вышел из дома и смотрел на швейцарцев не из окна, а прямо им в глаза. Вы, конечно, догадываетесь, кто был он, этот человек... Это был не он, а она, моя будущая мать Рахиль...

– Что за принцы такие? – сказала она. – Почему я должна, как арестантка, подглядывать за ними из окна?

Вышла на улицу, стала в воротах, прислонилась к калитке и во все глаза смотрит на моего будущего дедушку и на будущего отца.

Представляете картину?! Идет красивый, чистенький блондинчик в заграничном костюме, при галстукке, в модных штиблетах, мальчик из аккуратного города Базеля, где он видел чистеньких немочек в белых передничках, идет этот немчик по жаркому южному городу, по тяжелому, нагретому солнцем песку и видит: стоит в воротах, прислонясь к калитке, загорелая девушка в старом платье, которое ей до колен, видит стройные босые ноги, видит талию, которую можно обхватить двумя пальцами, видит густые черные прекрасные волосы, синие-синие глаза и зубы, белые, как сахар. И она во все свои синие глаза смотрит на него, беззастенчиво, даже нахально, дерзкая шестнадцатилетняя девчонка из южного украинского городка, дочь сапожника, никакому этикету, как вы понимаете, не обучена. И этот парень ей в диковинку. Не только потому, что он из Швейцарии, она об этой Швейцарии понятия не имела, просто она никогда не видела, чтобы еврейский парень был голубоглазый блондин, чтобы был одет, как сын какого-нибудь генерал-губернатора. Она видела только ребят со своей улицы, здоровых, загорелых, сапожников, кожевников, портных, возчиков, грузчиков. И в первый раз увидела такого беленького мальчика с голубыми глазами, чистенького, аккуратного, красивого, как молодой бог.

Что вам сказать? Это был Момент, Момент с большой буквы. Это была любовь-молния. Эта девушка стала для моего отца судьбой, женщиной, к которой ему было суждено прилепиться. И он прилепился к ней на всю жизнь, как прилепился праотец наш Иаков к своей Рахили.

Позже, много лет спустя, отец говорил, что, увидев мать, стоящую у ворот, босоногую, в коротком ситцевом платье, он полюбил ее, как принц полюбил Золушку, и женился, чтобы увезти в Швейцарию. А мама говорила, что, увидев этого бледненького красавчика в заграничном костюме с жилетом и белым стоячим крахмальным воротничком, изнемогающего от жары, она его пожалела и потому вышла за него замуж. Они, конечно, шутили. Шутили потому, что любили друг друга.

Но вернемся к событиям...

Когда дедушка и отец приехали из Швейцарии, никаких Ивановских в городе уже не было. Отец моего дедушки давно умер, обе его сестры тоже умерли. Но после сестер остались их дети, и у этих детей тоже были дети.

В те времена, особенно в маленьком городишке, приезжий иностранец обязательно считался миллионером. А у всякого миллионера моментально появляется куча родственников. Но это в том случае, если дело происходит в каком-нибудь захудалом местечке, какие в свое время описывал Шолом-Алейхем и где люди жили одним воздухом. Про наш город этого сказать нельзя. Наш город не был похож на местечки черты оседлости. Север Черниговской губернии, рядом Могилевская губерния – уже не Украина, а Белоруссия, тут же Орловская и Брянская – уже Россия, к тому же большая железнодорожная станция, и хотя это было при царизме, который, как вам известно, угнетал все народы, а еврейский в особенности, люди у нас жили не одним воздухом, люди были с профессией, с положением: кожевники, возчики, грузчики, ремесленники, в том числе сапожники, как, например, Рахленко, мой дедушка со стороны матери.

Возле города сосновый лес, целебный для людей вообще, а для легочников особенно, для них наш лес и наш сухой, степной воздух – просто спасение. Тут же и речка с прекрасным песчаным пляжем. Райское место! Летом наезжали дачники из Чернигова, Киева, даже из Москвы и Петербурга. А дачника, сами понимаете, надо обслужить, вокруг дачника полно работы, особенно для сапожника: дачник гуляет, стирает подметку, сбивает каблук, надо починить быстро, срочно, моментально. Но уже тогда сапожное дело у нас развивалось не просто как починка обуви, к тому времени в городе уже был кожевенный завод. Уезд был богат скотом, скот забивали, а шкуры шли на кожевенный завод. Ну а там, где кожа, там, как говорится, надо тачать сапоги. Еще до революции многие сапожники у нас изготавливали обувь на продажу. После революции возникла артель, потом обувная фабрика. Конечно, наш город не Кимры, наша фабрика не «Скорострой», но изготавливает совсем неплохую продукцию, говорю это как специалист-обувщик.

Итак, народ был работающий, сводил концы с концами, ни у кого не одалживался, каждый соблюдал свое достоинство. И хотя событие, о котором я рассказываю, было исключительным: что там ни говори, профессор, доктор медицины, из Швейцарии, свой, местный, уехал почти сорок лет назад с этой самой улицы, – и все же не землетрясение. В каком-нибудь шолом-алейхемском местечке это могло вызвать землетрясение, но у нас нет, не вызвало.

Именно поэтому никто, кроме моей матери Рахили, на улицу не вышел и никто, кроме настоящих родственников, им в родню не набивался. Ближайшей родственницей оказалась дедушкина племянница, дочь его родной сестры, пожилая женщина, жена кузнеца, между прочим, первоклассного, потомственного кузнеца, даже фамилия его была Кузнецов. Фамилии в свое время давали не только по месту жительства, но и по профессии. Чей он, мол, такой? Сын кузнеца – Кузнецов, сын кожевника – Кожевников, сапожника – Сапожников, столяра – Столяров, переплетчика – Переплетчиков, ну и так далее. К этому кузнецу наши швейцарцы и пришли в тот знаменательный день, когда мой будущий отец увидел мою будущую мать.

Конечно, они не сразу пошли к Кузнецовым. По приезде они остановились в гостинице. Гостиница довольно чистая, содержала ее вдова, полька, пани Янжевецкая. Лето, курортный сезон, но дедушке предоставили лучший номер. Не такие апартаменты, к каким он привык в Базеле, но терпимо. Дедушка поселился в гостинице, навел справки насчет своей родни и узнал, что жена кузнеца Кузнецова и есть его племянница. Но, как вы понимаете, в таком городке секретов быть не может; когда на следующий день дедушка с сыном Якобом явились к Кузнецовым, то их торжественно ждало все семейство, был накрыт стол, и на столе было все, что полагается в таких случаях. И уже за столом дедушка узнал о других своих родственниках и, как аккуратный и обстоятельный немец, о каждом подробно расспросил: что, мол, и как, с какой стороны тот ему родня, – все взвесил, решил, с кем ему следует повидаться, с кем нет, и тех, кого он отобрал, на следующий день пригласили к Кузнецовым, и дедушка Ивановский их одарил разными подарками, а кого и просто деньгами.

Единственный родственник, которого дедушке пришлось навестить самому, был некий Хаим Ягудин. Хаим Ягудин приходился дедушке зятем, был женат на его старшей сестре, к тому времени уже покойнице. И Хаим Ягудин сказал, что коль скоро Ивановский приехал, чтобы повидать своих близких, а близких у него было только две сестры-покойницы, то он должен был бы прийти в первую очередь в дом своей родной сестры, а не в дом племянницы, потому что, как понимает каждый, сестра – более близкая родня, чем племянница. И коль скоро Ивановский пересек Европу, чтобы повидать своих родственников, то ему нетрудно будет сделать еще пятьсот шагов до его, Ягудина, дома. И если Ивановский этих пятисот шагов не сделает, то нанесет ему, Хаиму Ягудину, смертельное оскорбление.

Из этой амбиции вы можете представить, что за человек был Хаим Ягудин. В смысле характера. Что же касается профессии, он был отставной унтер-офицер. В то время еврей – унтер-офицер была большая редкость. А Хаим Ягудин дослужился, даже имел медаль... Маленький, сухой, хромым после ранения, брил бороду, носил фельдфебельские усы, душился крепким одеколоном, курил табак, разговаривал только по-русски, не соблюдал субботы, ни в какого бога не верил и издевался над теми, кто верил. Ни один скандал в городе не обходился без него. Взъерошенный, сердитый, он ковылял к месту происшествия, размахивая палкой, врзался в толпу, начинал судить и рядить. Начинал спокойно, но быстро раздражался, таращил глаза, его выводила из себя «тупость этих скотов», и тогда избивал палкой и правого и виноватого. Он был хилый, тщедушный, но его боялись, не хотели с ним связываться, а он всех презирал, кричал, что не может жить с «этими идиотами», и даже объявил однажды, что скоро приедет мулла из Тифлиса и окрестит его, Хаима Ягудина, в магометанскую веру. Сами понимаете, в то время в маленьком городке это был вызов всем.

Жена его, старшая сестра дедушки Ивановского, умерла, оставив ему пятерых детей, на их средства Хаим Ягудин и жил. Между нами говоря, был большой лодырь, работать не хотел, считал себя человеком образованным. А у таких лодырей, как правило, и жена работающая и дети работающие. Таков закон природы. Жена торговала фруктами, кормила этим семью, вертелась как могла. И дети стали рано работать, чуть ли не с одиннадцати лет, тащили один другого и, когда мать умерла, содержали отца. Дети были хорошие работники, простые, скромные люди, и только одна дочь, Сарра, не захотела жить честным трудом. Сарра была красавица, точь-в-точь как Вера Холодная, у нас ее так и звали – Вера Холодная. Она, понимаете ли, стала заниматься, чем бы вы думали? Бриллиантами. Люди даже говорили, что у нее был бриллиант царя Николая. Ну а когда женщина занимается таким делом, то хоть она и красавица, хоть она и Вера Холодная, но кончает известно чем – тюрьмой.

Но вернемся к самому Хаиму Ягудину. Он был, надо сказать, большой жуир, знаток галантного обхождения, любил выпить, посидеть в интеллигентном обществе и побеседовать на интеллигентные темы и потому целые дни проводил в парикмахерской, в компании таких же бездельников и краснобаев. Наш парикмахер Бернارد Семенович тоже был знаток галантного обхождения, любил, чтобы в парикмахерской собиралось «общество» и, пока он щелкает ножницами или мылит бороды, чтобы разговаривали на разные текущие темы. Не всегда эти разговоры кончались мирно. Однажды Хаим Ягудин поспорил с неким провизором, изображавшим из себя либерала. Не знаю, о чем они спорили, но Хаим вдруг встает и заявляет, что он присягал на верность царю и отечеству, никому не позволит их поносить и потому, если провизор в течение десяти дней не уберется из России, за которую он, Хаим Ягудин, проливал кровь и потерял ногу, то он его убьет и отвечать за это не будет.

Провизор только усмехнулся. Но на следующий день Хаим не явился в парикмахерскую – провизора это встревожило. Не пришел Хаим ни на третий, ни на четвертый день – это встревожило всех. Короче: Хаим дал клятву, что выйдет из дому только на одиннадцатый день, чтобы убедиться, что негодяй провизор убрался из России, а если не уберется, то он, Хаим, убьет его.

Провизор побежал к приставу. Пристав сказал, что пока он, провизор, жив, то есть пока Хаим не убил его, нет никаких оснований того преследовать... Вот если он его действительно убьет, тогда придется Хаима арестовать. Хорошее утешение для провизора!.. На одиннадцатый день у дома Хаима собрались люди, желающие посмотреть, как Хаим будет убивать провизора. Им не пришлось этого увидеть. Ночью провизор уехал в Одессу, а оттуда в Америку.

Все это я, конечно, рассказываю с чужих слов, может быть, в действительности это было не совсем так, а как-нибудь по-другому. Но этот случай достаточно характеризует Хаима Ягудина.

Ничего этого, конечно, дедушка Ивановский не знал. Но семья Кузнецовых отлично знала, что за тип Хаим Ягудин, хорошо понимала, что означает его заявление о смертельном оскорблении: от Хаима Ягудина можно ожидать любой хулиганской выходки, и потому лучше ему уступить. И они деликатно намекнули профессору Ивановскому, что его зять Хаим Ягудин – заслуженный унтер-офицер, инвалид, ходить ему трудно и хорошо бы профессору его навестить, тем более муж его покойной сестры и до дома Хаима всего пятьсот шагов.

Пришлось нашим швейцарцам идти к Хаиму Ягудину. Я, естественно, при этой встрече не был. Но потом я бывал в доме Ягудина и ясно вижу всю сцену...

Представьте старый, запущенный дом вдовца, к тому же лодыря, который за свою жизнь повышибал много чужих зубов, но не вбил в стену ни одного гвоздя, представьте покосившееся крыльцо, сломанные перила, танцующие половицы, дырявую крышу, побитую штукатурку, темные сени, заваленные рухлядью. Представьте «зал»: грубый стол без клеенки и без скатерти, громадный рассохшийся буфет с разбитыми стеклами, треногие стулья с дырявыми сиденьями... И посреди этого великолепия стоит Хаим Ягудин, маленький, рыжеусый, с седым унтер-офицерским бобриком, и улыбается хотя и галантной, но высокомерной улыбкой: мол, мы не из Базеля, не доктора медицины, но тоже кое-что значим.

Между прочим, у них могла бы состояться беседа. Хаим был для своего времени – и для нашего городка – человеком довольно образованным, хотя и самоучка. Он даже знал немного по-английски. То есть в каком смысле знал? Мог написать на конверте адрес по-английски. У кого были родственники в Америке или в Австралии и надо было отправить письмо, те шли к Хаиму Ягудину.

Словом, с ним было о чем поговорить, и он любил поговорить. Но все началось с инцидента и на инциденте закончилось.

День был жаркий, дедушка и отец были одеты, как положено для визита: костюм-тройка, галстук, крахмальный воротничок. Они изнывали от жары, пот лил, особенно со старика, градом. И наш бравый унтер-офицер принимает решение: освежить гостей одеколоном. Ставит посреди комнаты дырявый стул, сажает профессора и обдает его физиономию тройным одеколоном из пульверизатора, один конец пульверизатора во флаконе, другой конец у Хаима во рту. Заметьте к тому же, что зубов у него нет. Хаим надувает щеки, дует изо всех сил, извергает на профессора вонючий одеколон и изрядное количество слюны. Но, как только он на секунду прервал процедуру, чтобы перевести дыхание, профессор встал, вынул из кармана платок, вытер лицо и отставил стул, показывая, что процедура окончена.

Однако упрямый Хаим ставит стул обратно и приглашает Якоба освежиться тем же способом. Но профессор запрещает, и сам Якоб этого не желает. А Хаим Ягудин, вместо того чтобы смириться и не навязывать гостям своей парфюмерии, наоборот, настаивает, требует, прицеливается в Якоба пульверизатором. Тогда дедушка надевает котелок, раскланивается и уходит с Якобом из дома, нажив себе в лице Хаима Ягудина смертельного врага.

Но на такого врага профессору Ивановскому, как вы понимаете, наплевать, он не хочет знать никакого Хаима Ягудина, он вообще никого здесь не хочет знать, кроме семьи Кузнецовых.

Семья Кузнецовых состояла из отца – кузнеца, матери – племянницы моего дедушки Ивановского и трех дочерей, трех девушек-красавиц. У этих девушек-красавиц были красавицы подруги, и как вы, наверно, догадались, среди подруг, безусловно, главной подругой была Рахиль Рахленко, моя будущая мать. И, конечно, Рахиль сделала так, что во время следующего визита Ивановских к Кузнецовым они там ее застали. В этом нет ничего удивительного! Сестры Кузнецовы пригласили к себе ближайшую подругу Рахиль Рахленко и познакомили ее с Якобом Ивановским, который хотя и приехал из Швейцарии, но приходился им родственником, троюродным братом или чем-то вроде этого. И что зазорного в том, что их подруге захотелось поближе рассмотреть эту заграничную штучку, этого фарфорового мальчика, потрогать, повертеть, посмотреть, из чего кроются такие красивые куклы. Моя мать умела всего лишь кое-как читать, писать, считать – не больше. В те времена, особенно в семье сапожника, девушкам редко давали высшее образование. Ничего, кроме неба, соснового леса и реки, она не видела, и вот пожалуйста, маленький принц из Швейцарии...

Моя мать очень любила отца, любила всю жизнь и отдала ему всю жизнь. Но, встретить ее отец на базельских улицах, он все равно полюбил бы Рахиль, и только Рахиль, она была его судьбой. А будь мой отец парнем с нашей улицы, еще неизвестно, как бы повернулось дело... Красивый, конечно, но тихий, скромный, застенчивый, и могло случиться, что мать полюбила бы более сильного, смелого, боевого парня. При всей своей дерзости и сумасбродстве моя мать была женщина практичная, знала, чего хотела, знала, что ей надо, и не хотела знать, чего ей не надо. И учтите, что в девушках моя мать считалась первой красавицей города и офицеры из полка специально ездили по нашей улице, чтобы посмотреть на Рахиль Рахленко.

Но в данном случае действовала мать. Она захотела увидеть иностранцев и без всяких церемоний вышла на улицу. Ей захотелось познакомиться с хорошеньким мальчиком, похожим на сына генерал-губернатора, она пришла в дом к своим подругам и познакомилась.

Что происходило дальше, как складывались их отношения, не знаю, я при этом не был. Мама говорила потом: «Он мне проходу не давал, ухаживал с утра до вечера». Папа говорил: «С утра до вечера она мне расставляла сети, ловушки и капканы». Так они шутили. Но в этих шутках, я думаю, была доля истины. Отец был влюблен, мать играла с диковинной игрушкой, но было ясно, что эту игрушку она уже не отдаст.

Кому ясно? Прежде всего им самим. И только им самим. Однако в те времена, особенно в таких традиционных семьях, браки заключались не на самом высоком уровне, не на небесах, браки заключали родители.

Могли ли родители Рахили рассчитывать на такой брак? Конечно, мой дедушка Рахленко был не какой-нибудь холодный сапожник, он был мастер, имел свою сапожную мастерскую; богачом, правда, не был, но и в бедняках не ходил. Кроме того, как вы увидите из дальнейшего рассказа, это был человек во многих отношениях замечательный, я бы даже сказал, выдающийся. Но все же не профессор, не доктор медицины, не владелец лучшей в Европе клиники. И разве в Швейцарии мало богатых невест для парня из такой семьи?

Что же касается дедушки Ивановского, то он, разумеется, ни о каком браке не думал. Якобу надо сначала кончить университет, получить специальность, стать врачом, а уж потом думать о женитьбе. Старик вообще считал Якоба младенцем, у него и мысли не было, что его Якоб, его маленький, застенчивый Якоб, этот мизиникл, вздумает жениться.

Конечно, если бы старик что-нибудь усек, как теперь говорят, он немедленно сел бы в поезд и смотался обратно в Швейцарию. Но он ничего не усек, и хотя смотался, но не в Швейцарию, а в город Нежин, повидать своих гимназических друзей, и поехал один, без

Якоба. А так как Якобу не годилось жить одному в гостинице и столоваться в трактире, то он переселил его к Кузнецовым, где ему выделили залу, самую парадную комнату, и обеспечили домашним питанием.

Большей глупости старик совершить не мог: он оставил Якоба один на один с Рахилью.

Старик отсутствовал неделю, именно про эту неделю мать говорила, что отец не давал ей проходу, а отец – что она расставляла ему силки и капканы. Ничего конкретного я про эту неделю не знаю, но представить себе могу... Они ходили купаться. Тогда женщины купались отдельно от мужчин, про общие пляжи в те времена и не слышали. Но что значит отдельно? По одну сторону куста – Якоб, по другую – девушки, сестры Кузнецовы и Рахиль. И Якоб слышит их писк, визг и смех, он воспитанный мальчик, он не всматривается, но как-то само собой получается, что ему сквозь кусты видны их мелькающие тела, и хотя он отводит глаза, когда Рахиль входит в воду, но нутром видит ее, как прекрасную Афродиту в пене морской. И кругом степь, поля, стрекочет в траве кузнечик, и все обжигается нашим благословенным солнцем, какого Якоб в своей Швейцарии не видел и никогда не увидит...

Но главное представление разыгрывалось в лесу. Я уже говорил, что наш город стоял в замечательном сосновом сухом лесу, – такие леса бывают только на юге и только в степи. Такого чистого, сухого, смолистого воздуха, как в этом лесу, я думаю, вы нигде не найдете, недаром подышать этим воздухом приезжали дачники даже из Москвы и Петербурга. Брали гамаки, корзинки с едой, уходили с утра в лес и валялись там весь день в гамаках. К тому же наш предприимчивый аптекарь по фамилии Орел поставил в лесу веранду и продавал там свежий кефир как лекарство, как целебный напиток; к бутылке кефира можно было прикупить сдобную булочку, тут же продавалось сливочное мороженое в маленьких вазочках. Я этого аптекаря Орла с его целебным кефиром, сдобными булочками и сливочным мороженым отлично помню, он возобновил свою деятельность при нэпе, в двадцатые годы, я тогда уже был подросток; помню бидоны с мороженым, обложенные льдом, в широких деревянных бадьях. Между прочим, и в двадцатые годы в наш город приезжали дачники из Москвы и Ленинграда и ходили с гамаками в лес. И как было дело при отце и матери, я могу себе представить. А дело было так: они ходили в лес, конечно, не одни, а с сестрами Кузнецовыми, ходить одним, молодому человеку и барышне, считалось тогда неприличным. Не знаю, все ли три сестры их сопровождали, вряд ли, в наших местах девушки не бездельничали: сад, огород, у того корова, у этого коза, и надо помогать отцу в лавке, если он торгует, относить заказы, если он ремесленник, и есть младшие братья и сестры, сорванцы и сопляки, за которыми надо смотреть, и надо ходить с матерью на базар и помогать ей на кухне, – словом, работы в доме хватало, и прохлаждаться целый день в лесу Кузнецовы своим дочерям позволить не могли. Но ведь речь идет о Якобе, о дорогом госте из Швейцарии, гостя надо занимать, развлекать, а какое может быть лучше развлечение, чем наш лес, знаменитый, можно сказать, на всю Россию, и что может быть полезнее для такого деликатного блондинчика, чем смолистый воздух? И, конечно, Кузнецовы с охотой отпускали своих дочерей с Якобом в лес. Ну, а как и чем отговаривалась дома Рахиль, сказать не могу, при крутом характере ее отца, моего дедушки Рахленки, я даже не могу представить, как это ей удавалось. Но, представьте, удавалось.

В общем, они ходили в лес и, как вы догадываетесь, располагались не на виду у дачного общества, а в стороне. Сестры Кузнецовы качались в гамаке или делали вид, что собирают землянику, а отец с матерью сидели на пледе меж сосен и смотрели друг на друга.

Июль, безоблачное небо, неподвижный воздух пропитан терпким смоляным запахом сосны, земля, горячая от солнца и мягкая от желтых сосновых игл, на Рахили тонкое короткое платье, шея открыта, по плечам рассыпаны черные волосы, и достаточно протянуть руку, чтобы до них дотронуться. И ему девятнадцать лет, а ей шестнадцать.

На каком языке они говорили? Отец знал два языка, немецкий и французский, мать тоже два, даже три: еврейский, русский и украинский. У них, как говорится, было в обороте пять языков, и ни на одном из них они не могли объясняться. Они объяснялись на шестом языке, самом для них понятном и прекрасном... Мать была женщина в полном смысле слова, умела притягивать к себе и в то же время держать на расстоянии – самое коварное женское качество. Как пружина: она сжимается, ты вот-вот у цели, но пружина разжимается, и ты отлетаешь на десять шагов. Этим искусством мать владела в совершенстве, и это был тот самый капкан, о котором впоследствии говорил отец.

Когда профессор Ивановский вернулся из Нежина, Якоб объявил ему, что женится на Рахили.

Не знаю, хватил ли дедушку удар, думаю, нет, принял успокоительные капли, а может быть, ничего не принял – у хирургов нервы крепкие. Дело было не столько в неожиданности этого заявления: от молодого человека девятнадцати лет, когда он врезался в девчонку, можно всего ожидать. Дело было в упорстве, такого упорства дед от него никак не ожидал. Впервые Якоб проявил характер, и, может быть, это даже обрадовало деда. Я даже думаю больше: в принципе дед был не слишком против такого брака. Во-первых, он видел, что такое Рахиль, а о том, что она была первая красавица, я уже вам докладывал. Во-вторых, Рахиль, простая, работающая девушка, без манерности, изнеженности, будет хорошей женой и матерью. И, наконец, в-третьих, дедушке не могло не импонировать, что его сын хочет взять жену с его, дедушки, родины, в этом, как ни говорите, есть знак уважения к родителю. А что до материального неравенства, то у Якоба, слава Богу, своего хватает. Университет? Где написано, что учиться можно только холостому? Почему нельзя учиться женатому, если этот женатый всем обеспечен, и у него жив отец и не собирается умирать, и жива мать и тоже не собирается умирать, живы братья-хирурги и есть клиника, не последняя в Швейцарии?

Так, по всей видимости, рассуждал дед, отец Якоба. Но была еще мать Якоба, и ее никак нельзя было обойти. В таком деле вообще нельзя обойти мать, тем более речь идет о ее любимчике, о ее дорогом Якобе.

И дедушка Ивановский сказал сыну:

– Якоб, ничего против Рахили я не имею, славная девушка. Но такое дело, Якоб, без материнского благословения не делается. Обойти мать мы никак не можем.

Якоб был разумным парнем и понимал, что нужно материнское согласие. К тому же он любил мать и не мог ее обидеть. И он сказал Рахили, что поедет в Базель, получит материнское благословение, немедленно вернется, и они поженятся.

Через два дня отец и сын Ивановские укатили в Швейцарию. Перед отъездом Якоб попросил Рахиль сфотографироваться и, когда фотография будет готова, выслать ее в Базель: как только его мать увидит, какая Рахиль красавица, она тут же даст свое благословение.

С этим и уехали.

2

А Рахиль осталась. Теперь она была не просто Рахиль Рахленко, дочь сапожника Авраама Рахленко, она была невестой Якоба Ивановского из Базеля, сына известного профессора, владельца знаменитой клиники.

Положение, доложу вам, щекотливое. Улица рассматривала это положение со всех сторон, поворачивала и туда и сюда. Все сходились на том, что у Рахили один шанс против ста. Шанс этот – ее красота, а девянсто девять «против» вы и сами наберете: простая, необразованная, небогатая и так далее и тому подобное, а там – доктора, профессора, клиника, Швейцария, Европа... И, пожелай старик женить на ней своего сына, он предпринял бы кое-какие шаги, нанес бы Рахленкам визит, посмотрел, что за люди ее родители, что за семья, с которой предстоит породниться, узнал бы поближе саму невесту. Ничего этого профессор Ивановский не сделал, к Рахленкам не зашел, не представился, не познакомился, не обмолвился ни словом. Ясно: счел все мальчишеской блажью и поторопился увезти сына в Базель, согласие матери – не более как уловка.

К такому заключению пришла улица, а от такого заключения один шаг до насмешек: какая, мол, незадачливая невеста!

Но уже тогда, в шестнадцать лет, моя мать не была человеком, который может стать объектом насмешек. Вскоре аккуратно... Что значит «аккуратно»? Каждый день стали приходить письма из Швейцарии. Каждый, понимаете, день, в один и тот же час в дом к сапожнику Рахленко являлся почтальон, который до этого и дороги сюда не знал, и вручал конверт из Базеля. Скептики были вынуждены замолчать. В душе скептики, наверно, считали, что письма абсолютно ничего не значат: мало ли что карябает на бумаге влюбленный мальчишка! Но факт оставался фактом: письма приходили, Рахиль на них отвечала, ходила на почту и опускала в ящик конверт. Значит, что-то делается, дело движется, куда, в какую сторону, – неизвестно, но движется. И люди решили: подождем – увидим, время покажет.

Письма не сохранились. Но, как я узнал потом от бабушки, именно тогда, в этот год, когда шла, так сказать, переписка между Россией и Швейцарией, мать и получила кое-какое образование, расширила, так сказать, свой кругозор, выучилась как следует русскому и даже чуточку немецкому. Конечно, ей помогали. На нашей улице были образованные барышни, я уже не говорю об образованных молодых людях, были и гимназисты, и реалисты, и студенты на каникулах. И кто откажет в помощи такой красавице, которая к тому же должна покорить Швейцарию!

Теперь перенесемся мысленно в Швейцарию, в город Базель. Главным действующим лицом в Базеле была моя бабушка Эльфрида, и бабушка Эльфрида – ни в какую, ни за что, ни в коем случае! Чтобы ее Якоб, такой Якоб, вдруг женился, да еще на дочери сапожника, об этом не может быть и речи. Ничего плохого о моей матери она, конечно, отцу не говорила, не было оснований говорить, люди интеллигентные, воспитанные, но надо сначала кончить университет, в девятнадцать лет не женятся, это моя смерть, конец моей жизни, я этого не переживу, и так далее, и тому подобное, что говорят матери, когда не хотят, чтобы их сыновья женились. Как я понимаю, было там много шума и гама, конечно, шума и гама на европейский манер, так сказать, по-базельски, как это положено в добропорядочных немецких семьях, но так, что ясно: жизнь или смерть.

Но и для Якоба вопрос тоже стоял именно так: жизнь или смерть. Он настаивал на своем, потом замолчал. Молчание это было хуже любого шума. Он замолчал и стал чахнуть на глазах. И все видят – о каком университете может идти речь, когда человек тает как свеча: не ест, не пьет, не выходит из комнаты, никого не желает видеть, не читает, ничем не зани-

мается, сидит целыми днями в своей комнате и вдобавок ко всему курит папиросу за папиросой?!

Каково матери? Совсем недавно она гуляла со своим Якобом по знаменитым базельским бульварам, все им любовались, радовались и спрашивали, чей это такой красивый беленький мальчик, а теперь этот мальчик лежит один в комнате, в дыму, курит папиросу за папиросой, не ест, не пьет, ни с кем не разговаривает, похудел, пожелтел, того и гляди заболит чахоткой и протянет ноги.

Так прошел год, и стало ясно: надо что-то делать. Если выбирать между жизнью и смертью, то лучше жизнь. И вот ровно через год в том же июле месяце в наш город направляется делегация: профессор Ивановский с женой Эльфридой, сыном Якобом и экономкой, женщиной, которая прислуживала бабушке Эльфриде, доверенное лицо, ей предстояло все выяснить, выявить, так сказать, подноготную, потому что такой даме, как бабушка, не пристало самой разузнавать и расспрашивать, а ехала она не затем, чтобы женить Якоба, а чтобы расстроить свадьбу.

Однако тем временем другая сторона тоже подготовилась. Под другой стороной я вовсе не имею в виду семью Рахили. Должен вам сказать, что дедушка мой Рахленко, отец Рахили, хотя и был сапожник, но был один из самых уважаемых горожан, а может быть, и самый уважаемый. И если в городе, где есть состоятельные люди, богатые торговцы, даже купцы второй гильдии, есть паровозные машинисты и люди интеллигентного труда, если, повторяю, в таком городе самый видный человек – простой сапожник, то это, несомненно, выдающаяся личность. Такой выдающейся личностью и был мой дедушка Рахленко, я уже об этом упоминал, и главная речь о нем впереди. Пока скажу только, что он был человек прямой и решительный, не признавал хитростей и интриганства: хочешь женить своего сына на моей дочери – жени, бери такой, какая она есть, а какая она есть – сам видишь; не хочешь – не жени, другой она не будет, и я сам и мой дом тоже другими не будут. Так что родители Рахили спокойно дожидались приезда Ивановских. Готовились не они, готовилась улица, готовился город, готовились студенты, приехавшие на каникулы, гимназисты и реалисты, учителя и дантисты – вся, в общем, интеллигенция, и простые люди сапожного цеха, и соседи. Все были на стороне Рахили и Якоба, все хотели им счастья и благополучия. Вы спросите почему? Я вам отвечу: Рахиль и Якоб любили друг друга, а любовь покоряет мир.

И хотя ни сама Рахиль, ни ее родители не собирались устраивать потемкинские деревни, не хотели и показухи, как теперь говорят, но город был взбудоражен, и как только стало известно, что летом Ивановские приедут, то само собой на Рахили появились модные туфли-лодочки на высоком каблуке, понятно, отец сапожник; появилось новое платье, появилась и шляпка от лучшей модистки, как полагалось в те времена, а в те времена модисткой называлась мастерица, которая изготовляла именно шляпки.

Итак, все горячо и бескорыстно готовились к предстоящим событиям. Злые языки, в их числе, само собой, Хаим Ягудин, утверждали, что благотворительность эта далеко не бескорыстна. Если Рахиль выйдет замуж за сына Ивановского, профессора, владельца лучшей в мире клиники, то все расходы и благодеяния окупятся с лихвой. Но злые языки найдутся всегда и всюду. Что касается Хаима Ягудина, то всем было ясно: обижен на старика Ивановского за то, что тот не захотел воспользоваться его парфюмерией. И рассудите сами: какая корысть студентам, гимназистам и гимназисткам заниматься с Рахилью русским и немецким, географией и историей и прививать ей светские манеры? Они знали, что ничего с этого не будут иметь, не хотели ничего иметь и не собирались ничего иметь.

И вот швейцарцы прибыли и остановились в гостинице, где их торжественно встретила пани Янжвецкая и объявила, что рада приветствовать столь высоких гостей в своем отеле; она отвела им под апартаменты верхний этаж и приставила к ним горничную Параську и официанта Тимофея, которого для такого случая обрядили в черный костюм с бабочкой, как

в лучших отелях Варшавы, по выражению пани Янжвецкой. И так как дедушка Ивановский был знаменитый хирург и профессор, то ему нанесли визиты первые люди города: пристав, местный присяжный поверенный, казенный раввин и просто раввин, отставной полковник Порубайло с женой и дочерью и врач железнодорожной больницы Волинцев, очень хороший врач, социал-демократ. Словом, город встретил гостей по первому разряду, только что молебствия не было, но молебствие бывает только по случаю прибытия государя императора, а, как вы понимаете, прибыл все же не он.

Конечно, такую встречу можно объяснить знатностью гостей: нельзя не посмотреть на самого знаменитого в Европе, а то и во всем мире профессора. Но, поверьте, в основе лежал интерес к этой романтической истории, никого не могла оставить равнодушной трогательная любовь таких прекрасных молодых людей: красавицы Рахили, дочери сапожника, и нежного, деликатного юноши Якоба из далекого города Базеля.

Итак, визиты: Ивановские к Рахленкам, Рахленки – к Ивановским. Экономка шныряет по городу, узнает, выпытывает, а что она может узнать, что может выпытать? Ответ один: Рахиль достойнейшая из достойных, старик Рахленко наиуважаемый из уважаемых. И был, конечно, лес, были гамаки, и аптекарь Орел готовил такой кефир и такое мороженое, что бабушка Эльфрида была поражена и призналась, что такого кефира и такого мороженого она в своей жизни ни разу не пробовала, хотя объездила лучшие города Европы и жила на знаменитых курортах; и когда ей понадобилось поправить прическу, то явился Бернард Семенович, а, как я вам уже рассказывал, это был галантнейший парикмахер во всей губернии, и бабушка Эльфрида сказала, что таким парикмахером гордился бы не только Базель, но и Париж, а Париж, как вам известно, законодатель мод и дамских причесок. Город наш в грязь лицом не ударил, показал себя во всей красе и великолепии, а уж о красоте и великолепии Рахили и говорить нечего, только слепой мог этого не видеть, впрочем, и слепой понял бы это по ее голосу, такой у нее был прекрасный, исключительный, мелодичный голос. И отдавая дань уму моей матери, надо сказать, что вела она себя с Ивановскими идеально, в том смысле, что запрятала подальше свою дерзость и строптивость. Возможно, она оробела перед такими знатными господами, перед этим парадом; возможно, не знаю. Но факт тот, что перед бабушкой Эльфридой предстала тихая, скромная красавица Рахиль. А в том, что она не белоручка, а работающая девушка, сознающая свой долг и свои обязанности, – в этом, конечно, бабушка быстро разобралась.

Казалось, сопротивление бабушки сломлено и дело идет к венцу. Но тут вдруг неожиданно бабушка выдвинула тяжелую артиллерию. Оказывается, бабушка не еврейка, а швейцарка немецкого происхождения. И когда дедушка на ней женился, то перешел в протестантство, не то в лютеранство, не то в кальвинизм, и их сыновья тоже протестанты, лютеране и кальвинисты, и мой отец Якоб – наполовину немец и тоже лютеранин, и выходит, я, ваш покорный слуга, на одну четверть немец.

Так вот, поскольку Якоб протестант, лютеранин и кальвинист, то бабушка ставит условием, чтобы Рахиль тоже приняла протестантство, лютеранство и кальвинизм и чтобы они венчались в Базеле.

Гром среди белого дня! Протестант? Лютеранин? Кальвинист? Про такое здесь и не слыхивали. Православный, католик – это у нас знали, но кальвинист, протестант!

Ни в какого Бога я не верил и не верю. Русский, еврей, белорус – для меня нет разницы, Советская власть воспитала меня интернационалистом. Моя супруга, Галина Николаевна, – русская, мы живем с ней тридцать лет, и у нас три сына, отличные парни, и хотя они записаны евреями, но они знают не еврейский язык, а русский, родились в России, женаты на русских, и мои внуки, значит, русские, и у всех у нас родина – Советская Россия. Но, с другой стороны, я скажу вам так: человек может верить в Бога, может и не верить, можно обрести веру, и можно потерять ее. Но для истинно верующего Бог один, тот, которого он носит в своем

сердце, и уж если ты хочешь верить, то разделяй ту веру, в которой ты родился. Менять веру ради личного интереса некрасиво, вера не перчатка: стянул с руки одну, натянул другую... И вот моя мать Рахиль, которая, между прочим, тоже в Бога не верила, должна была перейти в лютеранство ради своего интереса... Что? Любовь выше? Правильно, согласен. Так моя мать и поставила вопрос. Она сказала Якобу:

– Раз мы должны через это пройти и раз я еврейка на сто процентов, а ты на пятьдесят, то возвращайся в веру своих отцов и дедов.

Логично! Сто процентов больше, чем пятьдесят. И дедушка Рахленко и бабушка Рахленко сказали:

– Чтобы наша дочь перешла в какое-то там лютеранство и протестантство – ни за что! Такого позора на свою голову мы не примем.

Не забывайте, все это происходило до революции, в 1910 году, религиозные предрассудки были сильны, тем более в маленьком городке на Украине. И Рахленков можно понять. Им предстояло жить здесь, и вот пожалуйста – дочь перешла в лютеранство, даже не просто в лютеранство, а в какую-то его швейцарскую разновидность.

Больше всего виню дедушку Ивановского. В свой первый приезд он скрыл свое лютеранство. И тогда многих удивило, что он не пошел в синагогу, где ему было отведено почетное место у восточной стены. Удивило, но как-то не зафиксировалось, тем более что старик через синагогу сделал богатое пожертвование на бедных. Но надо было говорить начистоту: так, мол, и так, мы протестанты, лютеране, кальвинисты, реформисты... Но ему было, наверно, стыдно сознаться, что он отрекся от своей веры, и он промолчал, и вот открылось через год, когда все шло к своему завершению, когда машина катилась на полной скорости к финишу. И протестантство и лютеранство как бревно на дороге. А когда машина на всем ходу налетает на бревно, то она опрокидывается, и пассажирам, знаете ли, не сладко.

И тут бабушка Эльфрида выпускает второй снаряд: после свадьбы молодые должны навсегда остаться в Швейцарии – там дом, гнездо, там университет, там клиника.

В общем, Рахиль должна навсегда порвать со своим корнем, перейти в немецкую веру, уехать со своей родины, расстаться с родителями, мало того – опозорить их.

Рахиль стояла как стена: ни в какую Швейцарию она не поедет, ей и здесь хорошо, а уж про лютеранство и говорить нечего, тем более она в Бога не верила, и как, спрашивается, могла она верить в Бога, если целый год ее опекали студенты, гимназисты и реалисты, вольнодумцы, марксисты, социал-демократы и бундовцы. И Якоб, мой будущий отец, тоже не был уж такой набожный протестант, ему на все было ровным счетом наплевать, ему нужна была Рахиль – вот кто ему был нужен, и будь она мусульманкой, буддисткой или огнепоклонницей, он с удовольствием стал бы мусульманином, буддистом и огнепоклонником, лишь бы Рахиль стала его женой.

Не знаю, как долго длилась эта баталия, но все закончилось соглашением: венчаются они здесь, а после свадьбы уезжают в Швейцарию. В этом Рахили пришлось уступить: жена должна следовать за мужем, а не наоборот.

Конечно, такая комбинация стоила денег, мой отец оказался, извините за выражение, необрезанным, и венчать его раввин не имел права. Но пошли в ход «липовые» медицинские справки и тому подобное, ибо, как говорится, «на земле весь род людской чтит один кумир священный»... Все сладились, свадьба была на весь город, после венчания молодые шли из синагоги пешком, вокруг них люди пели, танцевали, веселились, оркестр играл марши и танцы, город ликовал... После свадьбы Рахиль и Якоб вместе со стариками Ивановскими и экономкой укатали в Швейцарию, а в нашем городе остались печали, восторги, толки и пересуды.

Вопрос этот обсуждался, конечно, и в парикмахерской, у Бернарда Семеновича. И, само собой разумеется, главное слово принадлежало Хаиму Ягудину.

И вот Хаим Ягудин объявляет, что вся возня вокруг этой истории не стоит выеденного яйца, не стоит ломаного гроша – буря в стакане воды. То есть сама по себе история вовсе не буря в стакане воды, но совсем не с той стороны, с какой ее видят, толкуют и обсуждают невежды, именующие себя учеными мудрецами, а на самом деле ничего, кроме Торы, в своей жизни не выдавшие и на толковании Торы свихнувшие себе мозги.

«Что предосудительного в том, что мать Якоба немка и лютеранка?» – вопрошал Хаим Ягудин. Абсолютно ничего предосудительного в этом нет и быть не может, это утверждает он, Хаим Ягудин, и тому, кто попробует ему возразить, он набьет морду, и его за это не накажут, а, наоборот, наградят, потому что супруга ныне благополучно царствующего государя императора, ее императорское величество Александра Федоровна, – тоже немка, из Гессена, и мать государя императора, то есть супруга почившего в бозе государя императора Александра Третьего, ныне вдовствующая императрица Мария Федоровна, родом из Дании, то есть фактически тоже немка, а Екатерина Вторая Великая была и вовсе чистокровной немкой. Но невежи талмудисты ничего этого не знают и вообще о том, что произошло за последние две тысячи лет, понятия не имеют. И если они краем уха что-то и слышали о Екатерине Второй, то только потому, что ее августейшее лицо изображено на сторублевых кредитных билетах. Но самих сторублевок они опять же не видели, жили, живут и будут жить на медные деньги, скоты, тупицы, хамы! Немцы ничуть не хуже евреев, а, наоборот, лучше. У него, у Хаима, командир полка был его высокоблагородие барон Танхегаузен, родом из немцев, герой, рубака! Короче, то, что у Якоба мать немка, говорит только в его пользу. И то, что она лютеранка, даже кальвинистка, еще лучше – неизвестно, чей бог главнее: лютеранский, который помог Бисмарку одолеть французов, или еврейский, которого никто, кроме самих евреев, не боится. В общем, все разговоры насчет матери Якоба следует немедленно прекратить – интеллигентная, воспитанная, деликатная дама, и тому, кто посмеет это отрицать, он, Хаим Ягудин, опять же разобьет морду в кровь, потому что офицерская честь диктует заступаться за даму, пусть она даже немка, лютеранка, в солидных годах и родом из Базеля.

Так что о матери Якоба разговора нет, вопрос о ней исчерпан окончательно и бесповоротно. Но...

Но... Тут Хаим Ягудин поднимал свою палку... Но совсем другой вопрос: кто отец Якоба? Кто, спрашивается, этот, извините за выражение, профессор, черт бы его побрал? Кто он такой? Еврей? А на каком основании вы это утверждаете? Ах, он отсюда, он местный... Вы присутствовали при его рождении? Вы ходили с ним в хедер? Кто его принимал? Кто его обрезал? Кто его записывал в книгу? Покажите мне эту акушерку, покажите мне этого раввина! Ах, он родился в Ивановке и приехал с матерью сюда. Очень хорошо! Но кто его отец, кто видел его отца? Я вас спрашиваю русским языком, черт побери! Ах, видели только мать... Разговор не про мать, его мать я тоже видел, она, покойница, между прочим, мне родная теща, родная мать моей родной жены, пусть земля им обеим будет пухом... И уж наверно я свою родную тещу знаю лучше какого-нибудь иного круглого дурака... Кого я имею в виду? Кого хотите! Хотя бы и вас! Пожалуйста! К чертовой матери! Закройте за этим болваном дверь!.. Так вот, про свою покойницу-тещу я сам могу порассказать много чего интересного. Но речь, повторяю, не о моей теще, не о матери этого профессора, черт бы его побрал, а об его отце, о моем, извините за выражение, тесте. Кто видел отца этого профессора? Я, например, не видел, хотя он мне тесть, а я ему зять. Что? Когда я женился на его дочери, его уже не было в живых? Еще один умник выискался, как вам это нравится? Так слушайте, вы, умник: моя жена, я думаю, видела своего отца, он умер, когда она была уже в девушках, и она рассказывала мне про него кое-что необыкновенное: это был не какой-то, извините за выражение, сапожник, это был умнейший и образованнейший человек и не талмудист, а светский человек, философ, вы слышали про философа Спинозу? Так вот, они состояли в переписке: Ивановский писал Спинозе, Спиноза – Ивановскому. Моя жена видела все это собствен-

ными глазами и слышала собственными ушами. Неужели вам это не понятно, сколько я еще должен вбивать это в ваши дурацкие головы? Но вот то, что профессор Ивановский видел своего отца, этого никто не докажет! Никогда! Это говорю вам я, Хаим Ягудин, черт вас возьми! Потому что профессор родился, когда старый Ивановский отдал Богу душу; профессор родился, когда его мать, то есть моя теща, уже три года была вдовой. Этот профессор – байстрюк, вот он кто! И отец его вовсе не Ивановский, а некий железнодорожный подрядчик, из тех, кто поставлял материалы на строительство Либаво-Роменской железной дороги, купец из староверов. Когда профессор родился, подрядчик подмазал кого надо, профессора записали на покойного Ивановского, а подрядчик тут же отправил вдову сюда, на строительство Либаво-Роменской железной дороги, с двумя, значит, дочерьми, действительно Ивановскими, и новорожденным профессором, который такой же Ивановский, как я император Вильгельм Второй. Теперь вам понятна механика, или я должен все это разжевать и положить вам в рот?

Подрядчик хотя и старовер и мошенник, как все железнодорожные подрядчики, но в данном случае оказался человеком порядочным, снабжал вдову деньгами, следил за воспитанием сына, именно поэтому профессор окончил Нежинскую гимназию – вы мне много назовете евреев, которые кончили бы в Нежине гимназию? Но за такие деньги, какие были у подрядчика, он мог бы кончить и духовную академию, только кадетский корпус не мог бы кончить: в армии за взятку положен расстрел перед строем с лишением всех прав и состояния. Так вот, благодаря своему отцу-подрядчику профессор и окончил сначала гимназию, а потом университет в Швейцарии. Если это не так, то объясните – нет, не мне, мне не надо объяснять, я сам все знаю, – объясните публике: почему профессор родился на десять лет позже своих сестер? Почему вдова переехала из Ивановки сюда, где у нее ни кола ни двора, ни родственников, ни даже знакомых? Объясните, на какие дивиденды сын бедной вдовы кончил сначала гимназию, а потом университет в Швейцарии? Подрядчик, подрядчик и еще раз подрядчик! И хотя в судьбе своего сына он показал себя порядочным человеком, но во всем остальном был законченный негодяй, и, попадись он мне, я бы ему разбил харю так, что его не признал бы ни один старовер. За что? Вы сами не догадываетесь? Он должен заботиться о своем сыне, но вместе с тем, черт бы его драл, должен понимать, что там семья, что нельзя профессора держать в холе, неге и золоте, а его родных сестер в отрепьях и лохмотьях, нельзя, чтобы профессор ел булку с маслом, а его сестры одну картошку, – ведь он, сукин сын, не позволял вдове и копейки тратить на дочерей, все профессору, все только для профессора; его сестры выросли без всякого образования, бедные бесприданницы, и на одной из них он, Хаим Ягудин, и женился из чистого благородства, чтобы восстановить поправленную справедливость. Что же касается приданого, то для него, Хаима Ягудина, деньги – тьфу! Для российской армии унтер-офицера деньги – тьфу! Унтер-офицер российской армии может за карточным столом оставить не только приданое своей жены, но и все свои родовые поместья и капиталы, потому что для офицера деньги – тьфу! В общем, он, Хаим Ягудин, искал для жизни не деньги, а человека, нашел его в лице своей покойной жены, которую уважал, как дай Бог всем женам! Он увел ее из дома, где ею помыкали и где кумиром был только профессор: все профессору, все для профессора! А на самом деле профессор байстрюк, незаконнорожденный, сын подрядчика из старообрядцев, и, выходит, Якоб, жених Рахили Рахленко, – сын байстрюка. И если в нем есть еврейская кровь, то на двадцать пять процентов, остальное немецкое и русское...

Между прочим, ничего особенного он, Хаим Ягудин, в этом не видит, смотрит на это как человек просвещенный, но ему противно, что городские скоты строят из себя святош, а сами живут с кем попало, а уж за немок-колонисток хватаются обеими руками, потому что какие они ядреные девки и к тому же охочие до этого дела, все знают. И профессор не виноват, что его мать спала с железнодорожным подрядчиком, тем более в этом не виноват сам

Якоб. Но каковы, спрашивается, наши раввины и старшины, если они по еврейскому обряду женили человека, у которого мать чистая немка, а отец наполовину русский, – словом, человека, который еврей всего на двадцать пять процентов?!

Такую, понимаете, версию выдвинул Хаим Ягудин. Выдвини ее кто-нибудь другой – в нее бы поверили. Почему не поверить в необычайный факт, который дополняет такую удивительную историю, как женитьба Якоба на Рахили? Если мать Якоба неожиданно оказалась немкой, а он сам лютеранином, то почему не допустить, что дедушка его – богатый железнодорожный подрядчик из старообрядцев? В такой ситуации объяви кто-нибудь отца Якоба кабардинцем или чеченцем, в это тоже поверили бы – слишком необычной была вся история. И некоторые старики и старухи подтверждали, что старый Ивановский из Ивановки был действительно человек ученый, а когда муж человек ученый, все время смотрит в книгу, то куда, спрашивается, смотреть его жене? Жене остается смотреть направо и смотреть налево. И мамаша профессора, еще живя в Ивановке, очень, между прочим, часто посматривала и направо и налево, а овдовев, и вовсе стала, что называется, веселой вдовой и носила на шее массивную золотую цепь с золотым медальоном. А что было в медальоне, никто не знает, медальона она никогда не открывала, может, там был чей-то портрет, и кто знает, возможно, портрет подрядчика!.. К тому же многие помнят, что здесь творилось, когда строились Либаво-Роменская и Киево-Воронежская железные дороги, они пересекались в Бахмаче... Народу понаехало – тьма! И просто мужики, и техники, и инженеры, и подрядчики, и купцы, и поставщики, и агенты, и кассиры, все с деньгами, рвутся до женщин, пьют, гуляют, и кругом трактиры, заезжие дома и кабаки, ну а там, где спрос, там и предложение...

Но все это с одной стороны...

С другой же стороны, все знали Хаима Ягудина как краснобая, хвастуна и вралю, способного выдумать любую историю. И все знали, что он обижен на профессора Ивановского за свой одеколон, все знали, что он завидует старику Рахленко – отцу Рахили, почему завидует, вы узнаете позже. И что за человек Хаим Ягудин, тоже все знали, настоящий человек не позволит себе говорить такое про свою тещу и своего шурина. И все знали, что Хаим Ягудин взял жену вовсе не бесприданницей, а получил за ней дом, тот самый, о котором я вам рассказывал, и фруктовую лавку, которой кормилась семья, пока не умерла жена, и Хаим эту лавку продал, потому что не мог же он, унтер-офицер российской армии, продавать фрукты местным скотам и хамам! Были и другие несуразности в рассказе Хаима, и были старики, твердо стоявшие на том, что профессор не кто иной, как сын Ивановского из Ивановки, который был не только ученым, но и деловым человеком, лесозаготовителем, поставлял, между прочим, лес на шпалопропиточный завод и, будучи связанным со строительством дороги, перебрался сюда, правда, вскоре умер, но переехали Ивановские уже с мальчиком-профессором, так что ни о каком старообрядце не может быть и речи. И старик Ивановский был человек состоятельный и сумел дать сыну образование, у него для этого были свои деньги, в деньгах подрядчика-старовера он не нуждался.

Что касается Спинозы, то действительно, говорили старики, какая-то история со Спинозой была. Некого Баруха Спинозу отлучили от синагоги за вольнодумство, а старик Ивановский как человек образованный послал по этому поводу телеграмму с протестом. Куда? Известно куда – в Вильно... То, что Спиноза жил на двести лет раньше Ивановского, к тому же не в Вильно, а в Амстердаме, никого не смущало, в подобные тонкости наши старики не вдавались. Телеграмма так телеграмма... Но разве это доказывает, что профессор Ивановский байстрюк?

Словом, приводились всякие доводы против версии Хаима Ягудина, и все знали, что за человек Хаим Ягудин, и держали сторону Рахили и Якоба.

Но были, повторяю, завистники и недоброжелатели, которые использовали легенду Хаима для своих ябед, клевет и доносов, которые они посылали в Чернигов и даже в Петер-

бург, в сенат, по поводу незаконного венчания по иудейскому обряду лютеранина Якоба Ивановского с еврейкой Рахилью Рахленко.

Однако царская бюрократическая машина катилась медленно, и пока писались, отсылались, рассматривались эти ябеды, делались запросы, посылались ответы, а на эти ответы – новые запросы, пока все это крутилось и раскручивалось, шло время, а время, оно летит быстро, началась Первая мировая война, потом революция, и перед лицом таких великих событий никто уже не интересовался: сделали обрезание Якобу Ивановскому или не сделали. Великая история заслонила маленькую историю. Хотя такие маленькие истории, миллионы таких маленьких историй, может быть, и составляют главную историю человечества.

3

О том, как жили мои родители в Швейцарии, я сужу по их рассказам, а рассказывали они мало и противоречиво. Отдельные слова, фразы, шутки. «В Базеле ты говорил по-другому». Или: «В Базеле ты хотела того, не хотела этого». Как из лоскутков шьют одеяло, так я из обрывков этих разговоров составил себе приблизительное представление о том, что произошло в Базеле и почему они вернулись.

Итак, мои родители живут в Базеле. Через год рождается их старший сын, мой брат Лева, а еще через полгода останавливается на нашей станции поезд, кондуктор выносит чемодан и баулы, выносит складную детскую коляску, и выходит из вагона молодая дама с младенцем на руках. Дама эта была моя мать Рахиль, а младенец – этот самый шестимесячный Лева, мой старший брат, с ним мать и явилась к своим родителям. Что случилось? А ничего, приехала навестить родных. Но никого не обманешь, все сразу догадались – дело неладно: явилась ни с того ни с сего, без мужа, с грудным ребенком на руках. В доме дедушки Рахленко от людей нет отбоя, всем интересно посмотреть на Рахиль, во что она превратилась в Швейцарии, но главное, всем хочется узнать, почему она вернулась. И это естественно: люди были искренне заинтересованы в ее судьбе, принимали в ней горячее участие, и вот что-то произошло и, может быть, все пошло прахом...

Конечно, мать вернулась не для того, чтобы повидать родственников и показать им внука. Моя мать вернулась из Базеля навсегда и окончательно. Не пожелала больше там жить. Почему? Якобы из-за кузин. Отец мой будто бы стал ухаживать за кузинами, были у него кузины с материнской стороны. Но это, конечно, отговорка. Не отрицаю, мама была ревнивая, но не потому, что отец изменял ей – у него этого и в мыслях не было, не такой он был человек, для него, кроме матери, никого не существовало. Мать была ревнива от своего характера, от своей властности, вспыльчивости, считала мужа своей собственностью. Но, повторяю, кузины – это отговорка, причины лежали гораздо глубже.

Безусловно, играла роль тоска по родине. В сущности, кроме Якоба, у нее там никого не было, ни родных, ни друзей, не было наших вишневых садов, нашего леса, базара, запаха нашей щедрой земли – всего того, среди чего она выросла, к чему привыкла и без чего жить ей было трудно.

И все же это можно преодолеть. Люди переселяются в другие страны, приживаются в новой среде, прижилась бы и мать. Но было другое, главное. В чопорном профессорском немецком доме, рядом со свекровью-аристократкой и золовками, женами братьев ее мужа, тоже аристократками, она, дочь сапожника с Украины, чувствовала себя не только не первой, не равной им, но последней. Может быть, мать вытерпела бы и это. В конце концов, не век бы они жили в доме свекра, могли жить отдельно. Но была капля, и эта капля, как говорится, переполнила чашу ее терпения. Язык! Мама говорила по-русски, по-украински, овладела бы, может быть, и немецким, но мешал ее родной язык идиш. Зная идиш, она в общем понимала немцев, но те ее не понимали; когда она пыталась объяснить с ними, то у нее получался не немецкий, а идиш, а для немца идиш – смех, а смеха над собой мать перенести не могла, и этот смех был каплей, переполнившей чашу.

О действительных причинах возвращения матери знал только отец и знал я. Вернее, узнал потом. Но узнал точно.

Для других же мамино возвращение было загадкой, все думали, что она вернулась потому, что жизнь ее с Якобом не сложилась. И многих огорчало, что такая прекрасная романтическая история, такое, можно сказать, выдающееся событие в жизни нашего города кончилось ничем. Усилия, борьба – все оказалось напрасным, никому не нужным, не принесло счастья.

Но они ошибались. Не прошло и двух месяцев, как из Базеля является Якоб собственной персоной, и всем стало ясно: никакого разрыва нет, они муж и жена, любят друг друга, ну а где они любят друг друга, в России или в Швейцарии, имеет ли это значение?

Не знаю, какие прения происходили между отцом и матерью, но то, что именно тогда я был запрограммирован, – это точно, так выходит по времени.

В общем, туда-сюда, у Левы корь, у Левы свинка, потом мама снова в интересном положении, и мой отец, его называли уже не Якоб, а по-нашему, Яков, мотается с Черниговщины в Базель, из Базеля на Черниговщину, а мать остается сначала меня родить, потом меня выкормить, затем, уже в четырнадцатом году, чтобы родить и выкормить третьего – Ефима. Дотянули до августа четырнадцатого года, когда, как вам известно, началась Первая мировая война, и ни о какой Швейцарии уже не могло быть и речи. И мой папа Яков застрял в России, и, слава Богу, его не тронули как нежелательного иностранца: хотя и лютеранин, но не из Германии, а из нейтральной Швейцарии.

Но что ему делать? Красивый, воспитанный, вежливый, добрый человек, представительный мужчина, но совершенно не приспособленный к здешней жизни. Человек без специальности. Вы понимаете, что такое человек без специальности? Понимаете. Тогда вы должны понять, что такое интеллигент без специальности, интеллигент без высшего образования. Пустое место. К физической работе не привык, к письменной – не годился, плохо знал язык. Но работать надо, содержать семью надо, нельзя с женой и детьми сидеть на шее у дедушки Рахленко.

И дедушка Рахленко решил пустить его по торговой части. Я уже говорил вам, что мой дедушка Рахленко хотя и был сапожник, но был мудрейший и очень значительный человек. Больше того! Самый уважаемый и почтенный: габбе, староста в синагоге. Обычно на эту должность избирался человек состоятельный, чтобы мог и на синагогу дать, и бедным помочь, и с начальством поладить, а что для этого нужно? Нужны деньги. И габбе обычно выбирали человека достойного, но с деньгами. У нас же выбрали моего дедушку, сапожника Рахленко, – его достоинство и мудрость были дороже любых денег. О дедушке я расскажу вам потом. А пока замечу только, что, как мудрый и деловой человек, он придумал для моего отца торговое дело, и вот какое именно.

Был у нас сосед по фамилии Плоткин, по имени Кусиел. Кусиел Плоткин. Если охарактеризовать его одним словом, то слово это неудачник. Есть такие люди, и работающие, и трудолюбивые, но не везет, не идет, за что ни возьмутся – не получается. Имел Кусиел мясное дело, лавчонку, такие лавчонки у нас назывались ятками. Плоткин ездил по окрестным деревням, закупал скот, забивал его и торговал мясом в своей ятке. Но он был невезучий, маленький, кривобокий, некрасивый. Первая жена умерла, вторая завела любовника – мужниного приказчика, поселила в своем доме. Кусиел ездил по деревням, закупал скот, а она с этим любовником забавлялась. А когда приказчик – любовник хозяйской жены, то на хозяйские деньги он смотрит как на свои. Если хозяйская жена – его жена, то и хозяйская касса – его касса. Если же Кусиел посылал приказчика закупать скот, а сам оставался дома, то негодница жена устраивала несчастному Кусиелу такую жизнь, какую бы не вынесла ни одна скотина. И вот дедушка Рахленко предлагает Кусиелу прогнать мерзавца приказчика и вместо него взять моего отца. И пусть отец проработает у него год. Если за этот год они сойдутся, понравятся друг другу и дело у них пойдет, то Кусиел возьмет отца в компанию, отец будет тогда не приказчик, а компаньон, будет иметь в деле половинную долю. Через год, если все будет хорошо, отец внесет половину стоимости ятки, и будущие доходы они будут делить пополам. Откуда отец возьмет деньги? Ну, как вы понимаете, ятка Кусиела не такая уж крупная фирма, не «Дженерал моторс», деньги понадобятся не слишком большие. Кое-что отец привез из Швейцарии, кое-что даст он, Авраам Рахленко, и, кроме того, у него такая репутация, такое имя, что если потребуется заем, то в займе можно не сомневаться. Не знаю,

как отнесся Кусиел к предложению через год взять отца в компанию, может быть, это ему не слишком понравилось, каждому хочется быть единоличным хозяином в своем деле. Но прогнать негодяя приказчика, мошенника, вора, любовника жены, а вместо него взять такого честного, порядочного человека, как мой отец, – это ему, бесспорно, пришлось по душе. И он знал, что ничего плохого, кроме хорошего, мой дедушка Рахленко предложить не может.

Все, однако, оказалось не так просто. Кусиел согласился, но он был не мужчина: если жена поселяет любовника в собственном доме, то муж ее не более чем тряпка.

В назначенный день дедушка и отец являются в ятку и видят, что Кусиел сам не свой, а негодяй приказчик стоит за прилавком и нахально усмехается.

Дедушка показывает на моего отца и спрашивает:

– Кусиел, кто этот человек?

– Это мой новый приказчик, – дрожа от страха, отвечает Кусиел.

Дедушка кивает в сторону нахала приказчика:

– А кто этот человек?

– Это мой бывший приказчик, – заикаясь, отвечает Кусиел.

– Ты с ним рассчитался?

– Рассчитался.

– Полностью и честь честью?

– Полностью и честь честью.

Тогда дедушка спрашивает у приказчика:

– Ты имеешь обиду на хозяина?

– Мне хозяйка запретила уходить из-за прилавка, – заявляет этот нахал.

– У тебя нет хозяйки, – говорит дедушка, – у тебя был хозяин. Но теперь он тебе не хозяин, а ты ему не работник.

С этими словами дедушка берет приказчика за грудки, вытаскивает из-за прилавка и выкидывает из магазина к чертовой матери, на мостовую.

А жене Кусиела дедушка сказал:

– Если ты будешь позорить своего мужа, то придется вас развести и выдать тебя за рябого Янкеля.

Рябой Янкель был дефективный парень с громадной головой и короткими парализованными ногами, сидел целый день на крыльчке по-турецки, иначе сидеть не мог, блаженно всем улыбался и, если к нему обращались, мычал в ответ нечто невразумительное, как у нас говорили, «не хватало десять гривен до рубля», – ненормальный... Все привыкли к нему, никто его не обижал, ни дети, ни тем более взрослые...

И вот так, таким, как говорится, способом, мой отец стал приказчиком в ятке Кусиела Плоткина.

Надо сказать, что это дело совсем не простое. Что представлял собой в то время мясоторговец? Он и гуртовщик, и мясник, и продавец. Покупать скот нужен опыт, надо на глаз определить, как откормлена скотина, сколько в ней ценного мяса, сколько жира, нужно уметь ощупать животное, надо знать породу скота и место, где он откармливался. Скот в наших местах – это так называемый черкасский скот, по-научному, серая украинская порода. Хорошая, даже идеальная порода как в смысле работы, так и в смысле мяса. Вы когда-нибудь видели украинского быка? Красавец! Семьдесят пудов веса, больше тонны! И тащит полторы тонны. Восемь лет такой бык работает, работает, как вол, извините за каламбур, потом поступает в нагул на мясо. Короче говоря, в скоте надо разбираться, иначе всучат дрянь, даже больную скотину, тут нужен опыт и опыт. Опыта у моего отца не было никакого, а у Кусиела был: он всю жизнь занимался мясом. И потому по деревням ездил Кусиел, закупал скот, а отец находился в лавке. Но продавать мясо тоже не простое дело: каждому сорту своя цена, – одно дело, скажем, филей, край, другое – шея, бедро, кострец. Каждой хозяйке

хочется получить кусочек получше и подешевле, понежнее и повкуснее, чтобы хватило и на суп, и на котлеты, и на жаркое, и на студень, она пробует его и на вид, и на запах, и на цвет. Ей подавай мясо блестящее, не слишком мягкое, но и не твердое, не особенно сухое, но чтобы не выделяло влаги, не бледное, но и не чересчур красное.

Постойте часок в магазине, у мясного прилавка, и посмотрите, как настоящая хозяйка выбирает мясо, помножьте это на то, что наш уезд скотоводческий и любая женщина разбиралась в мясе не меньше, чем нынешний инженер мясохолодильной промышленности, и вы поймете положение моего отца, который до этого видел мясо только за столом в вареном, жареном или тушеном виде, и учтите его деликатность: это был, знаете ли, не тот ловкий продавец, который на ваших глазах отрубает от красивой туши аппетитный кусочек, вертит его перед вашими глазами, как бриллиант, а дома вы вместо бриллианта находите одни кости. Отец этого делать не умел, и вы, наверно, решили, что ничего хорошего из этой затеи получиться не могло и отец потерпел фиаско.

Представьте, никакого фиаско не произошло, затея себя оправдала.

Не сразу. Были ошибки, были просчеты. Первый месяц Кусиел стоял рядом с отцом, вернее, отец рядом с Кусиелом, осваивал дело. И освоил. И дело пошло. Почему пошло? Я вам скажу. Во-первых, отец был способный и к тому же из семьи хирургов, а хирург, как там ни верти, до известной степени мясник... Во-вторых, главные клиенты у Кусиела были деповские, жены машинистов и других рабочих, его ятка была на Старом базаре, недалеко от станции. Была еще одна ятка на Новом базаре, но это на другом конце города. И все деповские покупали мясо у Кусиела. В кредит. Забирали мясо, Кусиел или его приказчик записывали на бумажке, а когда машинисты получали получку, их жены расплачивались. Так вот, негодяй приказчик, а возможно, и сам Кусиел приписывали. Хозяйки это видели, понимали, но доказать не могли, скандалили, но им в нос совали бумажку и говорили: «Видите, записано?!» Из-за этих приписок покупательницы уходили от Кусиела на Новый базар в другую ятку: человеку обидно, когда его делают дураком. И мой отец сказал: «Чтобы никаких приписок, это мое условие». Кусиелу пришлось согласиться, тем более он видел, что дело пошло и без приписок. Все знали моего отца как честнейшего человека, знали, что он не позволит взять себе лишнюю копейку, прекратились скандалы и споры, и те покупательницы, что ушли из-за приписок, вернулись. В-третьих, мой отец навел в ятке неслыханную чистоту и порядок. Вы знаете, каковы немцы в этом отношении. Может быть, отец вспомнил чистые немецкие мясные лавки, где висят колбасы, и окорока, и гирлянды сосисок и все выглядит так красиво и аппетитно, что хочется все это съесть... И, наконец, в-четвертых... Вот это, в-четвертых, самое главное... Четвертое, понимаете ли, – красота моего отца. Он носил тонкие усики и бородку, это называлось «эспаньолка», и был похож на француза. К тому же отец владел не только немецким языком, но и французским. Его в городе так и звали «француз», хотя он был блондин. Впрочем, большая ошибка считать, что все французы брюнеты. Далеко не все. Среди французов много блондинов. И женам машинистов и всех деповских было приятно, что их обслуживает такой галантный мужчина, похожий на француза, и те, кто раньше приходил через день или два, стали заглядывать чуть ли не каждый день. И пошла по городу молва, что женщины влюблены в моего отца. И такое могло случиться. Была у нас в городе некая Голубинская, жена деповского механика, и она действительно влюбилась в моего отца. Говорила с ним по-французски, ходила каждый день в лавку и втюрилась по самые уши. Много лет спустя мне об этом рассказывал сам отец. Голубинская предлагала ему бросить мою мать и уехать с ней, Голубинской, к ее отцу, помещику.

Словом, разговоров, слухов, сплетен и пересудов оказалось достаточно, тем более что их всячески раздувала жена Кусиела. Могли ли эти слухи не дойти до матери и могла ли она оставить их без внимания? Ни одной минуты! Она отправилась в ятку, увидела там полно женщин, в их числе Голубинскую. В том, что Голубинская покупала мясо, не было ничего

особенного. Но моя мать была женщиной в полном смысле слова, ей было достаточно того, как посмотрела на нее Голубинская, достаточно было увидеть отца среди такого количества женщин. Всего этого вместе с толками, сплетнями и пересудами ей было совершенно достаточно, и она объявила, что ни одного дня отец больше не будет работать у Кусиела.

Как так? Отец устроился, вошел, можно сказать, в курс, приобрел специальность, через месяц-два станет компаньоном, и пожалуйста – бросай дело?! Бабские причуды! Даже дедушка Рахленко, который был крут с сыновьями, но Рахиль в жизни пальцем не тронул, и тот ударил кулаком по столу, да так, что посуда подскочила.

– Чтобы было тихо, – сказал дедушка, – никаких разговоров!

Он был прав. Трое детей не шутка, и нельзя благополучие семьи подчинять женским капризам и глупым ревностям. Отец это понимал, ценил свое место, но он не стучал кулаком по столу, только отшучивался и продолжал ходить в ятку.

Однако никакие уговоры, резоны, убеждения на мать не действовали. Она дулась, с отцом не разговаривала, являлась каждый день в ятку, стояла, смотрела на покупателя как волчица, опасались даже, что она того и гляди изобьет Голубинскую.

Можно работать в такой обстановке?

Но ревность своим чередом, а дело своим. Мать была женщиной достаточно практичной, понимала, что семью надо кормить. Дома она скандалила, а вне дома подыскивала отцу место. Такое место, чтобы там женщинами и не пахло. И нашла. Нужен приказчик в магазине некоего Алешинского, торговца железо-скобяным товаром, москателью, красками, сельскохозяйственным инструментом. Кто покупатель в такой лавке? Пошлет мужик свою жену выбирать косу, или лемех для плуга, или шинное железо для колеса? За таким товаром он пойдет сам, он эту косу перевернет сто раз, проверит ее на ошупь и на слух, как она звенит, как вибрирует. Самое подходящее место для моего отца. Правда, надо осваивать дело заново. Но, как говорила мать, для настоящего торговца не важно, чем торговать, надо уметь торговать, а торговать отец умеет.

Мать настояла на своем, отец перешел к Алешинскому и проработал у него довольно долго, года два или три; даже в моей памяти сохранился москательный запах этой лавки, до сих пор помню ящики и лотки с гвоздями, бочки с олифой, железо полосовое, шинное и всякое другое, помню мотки проволоки, косы, серпы, подковы, точильные камни, пилы, молотки, веревки, уздечки. Алешинский не взял отца в компанию, компаньон ему не требовался, человек богатый, но платил прилично: отец был хорошим работником, крестьяне его уважали, отец никого не обманывал, не обьегоривал, не всучивал барахло, и простому человеку оказывал такое же внимание, как и помещику, для него все были равны. И, может быть, отец так и остался бы на всю жизнь москательщиком, но помешал, понимаете ли, пожар. Сгорела лавка? Нет! Сгорела не лавка, а папина москательная карьера.

В нашем городе была добровольная пожарная дружина, или команда, они назывались и так и так. Не знаю, есть ли такие добровольные дружины сейчас, думаю, есть: в маленьком городе невыгодно держать платную пожарную команду. Когда в небольшом городке пожар, то каждый его видит, каждый может ударить в колокол, в набат, и тогда члены пожарной команды, где бы они ни были, чем бы ни занимались, обязаны все бросить и немедленно явиться в пожарное депо, попросту говоря, в пожарный сарай, где стоят наготове бочки с водой, насосы висят, шланги, веревки, багры, – словом, все, что требуется для тушения пожара.

У нас была первоклассная пожарная команда. Даже сам господин губернатор говорил, что если бы в каждом городе, селе и местечке вверенной ему губернии была такая замечательная команда, то это было бы счастьем для всего населения и особенно для его имущества, потому что при пожаре сначала горит имущество, а потом горят те, кто это имущество спасает.

Участие в пожарной команде считалось большой честью. Принимали туда мужчин отборных, здоровых, сильных, выносливых, смелых и сообразительных. И потому слова «член добровольной пожарной дружины» уже сами по себе как бы служили аттестацией мужчине, особенно молодому. Во главе пожарной дружины стоял начальник, опытный, решительный и распорядительный, он избирался дружиной, и начальником нашей дружины избрали, конечно, дедушку Рахленко. Первым делом дедушка выгнал из команды Хаима Ягудина, который на пожаре суетился, орал, размахивал палкой и только мешал. Дедушка приказал близко не подпускать Хаима Ягудина к пожару. Дедушка был человек крутой и дисциплину держал на высоком уровне: каждый знал свое место и что ему надлежало делать. Конечно, все дедушкины сыновья, мои дяди, были членами дружины, ребята здоровые, удалые. И мой отец, как член семьи, тоже был в дружине и при пожаре немедленно являлся к назначенному месту.

И вот случился пожар: в базарный день загорелись лавчонки... Отец, естественно, спешит к месту пожара. А хозяин Алешинский, не пускает, приказывает выносить товары на случай, если огонь доберется до его магазина. Но у отца на первом месте – общественный долг, он спешит на пожар, тушит его с дружиной, и так он увлекся, что не заметил, как загорелся магазин его хозяина, Алешинского. И хотя магазин не сгорел: был уже конец пожара, магазин каменный, и к тому же застрахованный, все добро приказчики успели вытащить, и, в общем, Алешинский ничего не потерял, но он не мог простить отцу, что тот общественный долг поставил выше интересов своего хозяина, стал придирааться, и отцу пришлось от него уйти.

Тем временем, несмотря на войну, письма из Швейцарии продолжали поступать кружным путем, через нейтральную Швецию, тем более что Швейцария тоже была нейтральной страной. И, конечно, в этих письмах по-прежнему ставился вопрос о переезде в Швейцарию. Но о каком переезде могла идти речь во время войны? Смешно! В Швейцарии не представляли себе, что такое война.

Но вот революция, царя скинули, черту оседлости отменили, езжай куда хочешь, потом Октябрьская революция, мировая война кончилась, письма из Швейцарии шли уже прямым путем, требования переезда в Швейцарию стали настойчивее, а сам переезд более реальным. И, насколько я понимаю, даже дедушка Рахленко склонялся к тому, чтобы отец с семьей уехал в Швейцарию. Дедушка любил свою дочь Рахиль, и Якова любил, как сына родного, и внуков любил, особенно старшего, Леву. Но дедушка видел, что зять его Яков совершенно не приспособлен к здешней жизни: без специальности, приказчик – это не профессия для такого человека. И на подачки из Швейцарии не проживешь, и унижительно: взрослый человек, отец семейства.

Надо ехать в Швейцарию... И отец, наверно, об этом мечтал, я думаю...

Но мама ни в какую! «Если, – говорит, – я там могла идти за третий сорт, то не желаю, чтобы за третий сорт шли мои дети. И сидеть на шее у свекра и свекрови тоже не хочу. А Яков, если хочет, пусть едет в свой Базель, поступает в университет, и, когда станет доктором, тогда посмотрим: или он вернется сюда со специальностью, или женится на какой-нибудь своей прыщавой кузине, на какой-нибудь сухопарой швейцарской вобле, а мне пусть пришлет развод, я как-нибудь устрою свою жизнь и жизнь своих детей».

Такие речи в то время! Но, хотя у мамы нас было уже трое, она, как рассказывают люди, только вошла в самый расцвет своей красоты. И в семнадцатом году ей было всего двадцать четыре года, а что такое двадцать четыре года для красавицы? Конечно, произведя на свет троих детей, трудно сохранить талию. К тому же семья наша простая и пища простая, ели, что бог посылал, а посылал он нам не бог весть что, особенно в войну, и в мировую и в гражданскую. Если был кусок хлеба, картошка и селедка, то и замечательно. Так что девическую талию мама, конечно, не сохранила. Но что касается остального прочего, то, когда я с мамой

приходил на базар, по тому, как мужики, глядя на нее, цокали языками и подмигивали друг другу, я уже тогда, хотя и был маленький, понимал, что моя мать женщина необыкновенная. Шла она по базару, высокая, стройная, как королева, и все перед ней расступались, давали дорогу.

Этим я хочу сказать, что как женщина мать моя была в себе уверена. Но думаю, что немного чересчур. Красавица, каких не сыщешь, хозяйка, каких не найдешь, деловая, умная, авторитетная, но трое детей – это такая премия, за которой не всякий прибежит. Сначала подумает. И если кто и возьмет женщину с тремя детьми, то какой-нибудь вдовец, который подкинет ей еще и своих четырех сирот. Мама это хорошо понимала и на новый брак, конечно, не рассчитывала, знала, что до этого дело никогда не дойдет, знала, что ее Яков никуда от нее не денется, потому что прикипел к ней сердцем и на всю жизнь. И думается мне иногда, что за вздорный и сумасбродный характер отец любил ее еще сильнее, жалел, понимал, что не со всяким она уживется, нужен ей именно такой муж, как он, – спокойный, деликатный и любящий.

Именно потому, что он был такой человек, такой муж, он и стал работать в сапожной мастерской тестя, то есть у моего дедушки Рахленко. Другого выхода не было.

Когда твои братья доктора медицины, а у твоего отца клиника в Базеле, то, знаете, сапожная мастерская не сахар. Ну а ятка Кусиела Плоткина? Москательная лавка Алешинского? Сахар?

Но все же, работая в ятке Кусиела, а потом в москательной лавке, отец на целый день уходил из дома, приносил получку и потому сохранял некую видимость самостоятельности. Я говорю: видимость, потому что все равно мы зависели от дедушки, жили в его доме, пользовались его хозяйством, и, как вы понимаете, на папино жалованье семья в пять человек не разгуляется; отец хотя и стоял за прилавком, но он был служащий, ни одной копейки сверх жалованья не имел. И все же, повторяю, некоторая видимость самостоятельности была, хотя бы в том, что отец приходил домой вечером, когда все уже отужинали, ужинал один и ел как бы свой ужин. Теперь же, работая у дедушки, отец был в полном его подчинении, круглые сутки находился в дедушкином доме, ел вместе со всеми, полностью стал членом дедушкиной семьи, а это была сложная семья, и сам дедушка очень и очень сложный человек. С одной стороны, самый уважаемый член общины, с другой – без всяких разговоров выкинул на мостовую Кусиелова приказчика; с одной стороны, почтенный староста синагоги, с другой – начальник добровольной пожарной дружины, и если бы вы видели, как дедушка нахлестывает лошадей, когда мчится на пожар, гикает и свистит, как казак, и как на пожаре ругается, извините за выражение, матом и лезет в огонь, то вы бы поняли, что это был сложный и противоречивый характер, и моему отцу было не так просто к нему приладиться.

4

Дедушка мой Рахленко, широкоплечий, чернобородый, вырос на тучной украинской земле, на глухих сельских дорогах, где его отец, то есть мой прадедушка, держал нечто вроде корчмы, приторговывал спиртным и, может, еще чем-то недозволенным и якшался с людьми, с которыми порядочному человеку, вероятно, не следовало якшаться. Дедушка с малых лет был отважным, честным и справедливым. Корчма ему не нравилась, и он совсем мальчиком, четырнадцати или пятнадцати лет, ушел из дома на строительство Либаво-Роменской железной дороги, таскал шпалы, работа была по нему, поскольку физической силы он был необычайной. И правильно сделал, что ушел из дома: где корчма, там водка, где водка – там драка, где драка – там убийство. И вот мой прадедушка в драке ударил человека, через несколько дней тот умер. Возможно, он умер не оттого, что прадедушка его ударил, но в деревне его смерть связали именно с этой дракой, и пришлось прадедушке оттуда удрать, и потому его прозвище у нас в городе было «дралэ», то есть удравший.

Но дедушка при этом не был, работал на строительстве Либаво-Роменской железной дороги, таскал шпалы и уже с четырнадцати лет жил самостоятельной жизнью.

Я несколько раз говорил вам, что мои родители, Яков и Рахиль, были очень красивые люди. Очень. Но их красота не шла ни в какое сравнение с красотой дедушки. Такие красавцы, я думаю, рождаются раз в сто лет. У него было поразительной белизны широкоскулое лицо, черная цыганская борода, высокий белый лоб, ровные белые зубы и прекрасные, чуть раскосые «японские» глаза. Перед войной мы с ним ездили в Ленинград, ему было уже далеко за семьдесят, но когда мы шли по Невскому, то люди оборачивались нам вслед. Моей матери Рахили было в кого стать красавицей.

Строительство дороги кончилось, и дедушка уехал в Одессу, поступил в обувное дело и стал хорошим специалистом в этой области. Он был деловой, работающий, человек слова, не любил трепаться и, наверно, преуспел бы в Одессе. Но Одесса! Вы, наверно, слышали про одесские погромы?.. А дедушка был не такой человек, чтобы позволить себя бить и уродовать. Он сам мог изуродовать кого хотите. Но что он мог сделать? В конце концов ему эта музыка надоела и он уехал в Аргентину. Прожил год, но ему там не понравилось. Во-первых, он, как и дочь его Рахиль, скучал по родине, был привязан к своим местам, во-вторых, хотя он и славился деловой хваткой, но дельцом не был, доверял людям, привык, чтобы доверяли ему, не умел ловчить, был прямой, ясный и открытый человек, а что ему могло быть ясным в Аргентине: он не знал ни языка, ни людей, ни обычаев. Короче, он вернулся в родной город и стал заниматься сапожным делом, тем, чему выучился, живя в Одессе. И так как работу свою знал, и наша местность была богата скотом, и были кожевники, а со временем появился и кожевенный завод, то дедушка сразу понял конъюнктуру, и дело у него пошло. А потом подросли сыновья, стали помогать, и у него получилась хорошая сапожная мастерская.

Что такое обувное дело? Я вам скажу так: обувь, если хотите знать, самая ответственная часть человеческого туалета. А как к ней относятся? Что такое сапожник? Это: «Сапожник, рамку!» – вот что такое сапожник, последний человек. Портной – это звучит, хорошо пошить костюм – искусство, а сапожник? Туфли мы покупаем готовыми, а костюм стараемся сшить на заказ. А надо наоборот. Надо шить стандартные костюмы на разные комбинации роста и полноты, а еще лучше иметь готовый крой, полуфабрикат, – чтобы за час-другой подогнать его на покупателя. Так, между прочим, делается во многих странах. И в конце концов, если костюм на вас чуть мешковат, то это недостаток чисто эстетический, вы не выглядите таким Аполлоном, каким себя воображаете, это наносит ущерб вашему самолюбию, но не здоровью. Другое дело – обувь. Как практик с многолетним опытом, я вам скажу: ни одна часть тела так не чувствительна к одежде, как нога к обуви. Кто служил в армии,

знает: главное – это сапоги. Когда шинель пригнана по фигуре, солдат выглядит молодцом. Но если он выглядит и не таким бравым служакой, тоже ничего, воевать можно. Но когда жмет сапог, вы уже не солдат! Все полководцы, начиная с Юлия Цезаря, обращали внимание прежде всего на обувь. Говорю вам как специалист: наши ноги настолько испорчены обувью, что нормальную, здоровую, правильную ногу можно найти только у новорожденных. Как только ребенок надел свой первый ботинок или первую туфельку – все! С этого момента он начинает уродовать ногу стандартной и модной обувью. На протяжении веков не обувь приспособливалась к ноге, а нога к обуви. И к чему мы пришли? Какую ногу видит перед собой сапожник? Пальцы сжаты, искривлены, надвинуты друг на друга, большой палец вместо прямого стал косым, маленький палец совершенно изуродован, приплюснут к четвертому, нарушены и ось и свод стопы, она потеряла свою эластичность и, значит, боится дороги... Сапожник видит мозоли, воспаления, нарывы, язвы, врастание ногтей, воспаление надкостницы, потертые пятки, плоскостопие... Картина самая неприглядная, и все из-за плохой, неправильной, чересчур стандартной или чересчур модной обуви.

Извините, я долго задержался на этом, но у людей слабость говорить о своем деле. У кого что болит, тот о том и говорит, хотя, может быть, другого твои болячки не интересуют. Скажу только одно: обувь должна сохранить стопу такой, какой ее создала природа. В идеале каждый человек должен иметь свою колодку. Но против прогресса не попрешь, а прогресс – это массовое производство. Против моды тоже не попрешь – так устроен человек, всем подавай моду. И все же и при массовом производстве и в индивидуальном пошиве надо помнить о главном – о ноге.

В те времена, о которых я рассказываю, массовое производство еще не было так развито и многие предпочитали шить обувь на заказ, по моде, конечно, но мода менялась не так часто, как сейчас. Дедушка поставил дело обдуманно, любая кожа под боком, он шил и мужскую обувь и дамскую, от начала до конца, от мерки до готового ботинка. Сам был мастер, и подмастерья были хорошие, и сыновья, хотя и не все, тоже пошли по сапожной части, и внуки: я и старший мой брат Лева с тринадцати лет также стали работать у дедушки, – семья большая, а отец наш был, как вы знаете, человек без профессии. Тогда, это уже было при Советской власти, разрешали подросткам работать с четырнадцати лет, но дедушка был кустарь, и мой отец числился кустарем, и мы с братом Левой помогали как члены семьи.

Чувствуете ситуацию? Отец в мастерской на таком же положении, как и мы, на вторых ролях, делал второстепенную работу: прибавал каблучки, подошвы, пришивал пуговицы, записывал размеры, когда дедушка снимал мерку. В общем, не слишком солидное занятие и не слишком солидные коллеги – собственные малые дети. Но ничего не поделаешь, деваться некуда. И хотя мы жили с дедушкой под одной крышей, жили одной семьей, но крыша – крышей, семья – семьей, а дело – делом. И для дедушки дело было на первом плане, на его деле держалась семья, и семьи его детей, и семьи его подмастерьев; дедушка сам работал не разгибая спины и от других требовал того же, никому не делал скидки, не давал поблажки: ни сыновьям, ни внукам, ни подмастерьям, ни зятю, – и если зять плохо прибил каблук, то дедушка мог отшвырнуть ботинок, и отец его поднимал, и это было довольно унижительно, тем более что сапожник отец был никакой и его продукция то и дело летела в угол. Но он понимал, что дедушка делает это не со зла, а требует настоящую работу и надо работать и терпеть. И он работал и терпел.

Сложнее обстояло дело во второй половине дома. Первая половина была мастерской, вторая – жилой. И вот в этой второй половине дело обстояло сложнее, тем более что там жили две семьи: дедушкина семья и наша семья. В дедушкиной семье дедушка был сам-восьмой, в нашей пока пятеро. Чертова дюжина! И все люди с характерами, часто неотесанными, это, знаете ли, не благопристойный немецкий докторский дом, это дом сапожника в маленьком

городке на Украине, и этот дом был целый мир, и приспособиться к этому миру отцу было нелегко.

Жену себе дедушка взял из Гомеля. Он много ездил. Если добрался до Аргентины, о Гомеле и говорить нечего. В Гомеле бабушка работала в парикмахерской, делала парики. В то время набожные женщины носили парики, собственные волосы стригли, не совсем, конечно, не наголо, немного оставляли, чтобы не выглядеть лысой без парика; как вы понимаете, в постель к мужу они ложились без парика, а на людях снова надевали, привязывали косу. Откуда это взялось, не знаю, так предписывал религиозный обычай.

Итак, бабушка в девушках жила в Гомеле, работала в парикмахерской, где-то они с дедушкой встретились, влюбились друг в друга и решили пожениться. Для дедушки это было совсем не просто: красавец, много разъезжал, привык к холостой жизни, и понимаете, к какой холостой жизни, от женщин у него отбоя не было, и ему было нелегко поставить на этом крест, нелегко было завязать, как теперь говорят. Однако он решил поставить крест, завязать, жениться на бабушке. Но и для бабушки выйти замуж за него тоже была проблема, но совсем иная. Ее отец был ломовой извозчик, а в то время цеховые связи были очень крепкими, ремесленники часто жили на одной улице, женили своих сыновей на дочерях соседей, – таким образом объединялось и укреплялось их дело. К бабушке, как дочери ломового извозчика, сватался тоже сын ломового извозчика, сам ломовой извозчик. И этот ее жених уговорил своих братьев по цеху отколотить дедушку, чтобы тому неповадно было отбивать чужих невест, тем более из другого города и из другого цеха.

Приехал как-то дедушка в Гомель, зашел к бабушке, посидели, потом бабушка пошла проводить его на вокзал. И вот тут, на вокзале, извозчики набросились на дедушку.

Вы видели когда-нибудь, как дерутся ломовые извозчики? Они бьются насмерть, бьются железными ломом, которыми закручивают веревки на телегах. Сами понимаете: одно дело, если вам звезданут по башке кулаком или даже бутылкой, совсем другое – если железным ломом. Но дедушка сумел выхватить у одного извозчика лом и, отбиваясь, бежал в вокзал. За ним ворвались извозчики. Женщины кричали, дети ревели, станционное начальство попряталось; станционное начальство храброе, когда перед ним безбилетный пассажир, но когда перед ним разъяренная толпа ломовых извозчиков с железными ломом в руках, то у этого начальства душа уходит в пятки и оно прячется. А ни одно начальство в мире не умеет так прятаться, как железнодорожное. Когда в кассе нет билетов, а вам надо срочно ехать, попробуйте найти не то что начальника вокзала, а хотя бы дежурного – никогда не найдете. Дедушка был один на один с десятком рассвирепевших ломовых извозчиков, которые готовы были своими ломом сделать из него котлету. Но дедушка был не тот человек, из которого можно сделать котлету. С ломом в руках он пробились обратно на площадь, подхватил свою невесту, мою будущую бабушку, обежал с ней вокзал, вскочил в поезд и уехал в свой город. Там они и обвенчались.

Но, хотя дедушка добыл свою невесту, можно сказать, на поле боя, можно сказать, рискуя жизнью, вынес ее с поля боя на руках, дома он на руках ее не носил, и жизнь моей бабушки была вовсе не сладкой. Дедушка был человек крутой, требовательный, в быту очень аккуратный и хозяйственный. Бабушка же с молодых лет делала парики в парикмахерской, к домашней работе ее не приучили, она была, к сожалению, совсем не хозяйственная, и даже не слишком аккуратная, то есть не какая-нибудь неряха, но и не помешана на чистоте, как все Рахленки, в том числе, между прочим, и моя мать Рахиль. Мама тоже была помешана на чистоте, это она унаследовала от дедушки, а не от бабушки. И бабушка, тихая, молчаливая, очень набожная, выйдя замуж, совсем растерялась. Дедушка требовал, чтобы в доме было чисто и чтобы все было вовремя, по часам, а народу было много, и пошли дети... Постепенно бабушка, конечно, привыкла, но вначале были промашки и недоразумения, она не сумела сразу поставить себя, не сумела занять в доме настоящее положение, играть положенную

роль: первым человеком был дедушка и для нее, и для детей, и для внуков, и для соседей, – словом, для всех. И хотя со временем бабушка освоилась с хозяйством и с семьей, но она так и осталась на вторых ролях. Первым был дедушка. Ну а вторым человеком стала моя мать, работяга, властная, хозяйственная, аккуратная; навязав дедушке свою семью, она считала себя обязанной работать за двоих, стряпала на всех, убирала за всеми, ходила за коровой, – в общем, управлялась со всем хозяйством. Но при ее характере делала это не как помощница своей матери, то есть бабушки, а, так сказать, оттеснив ее от руководства и еще больше снизив ее роль в доме. И дедушка с этим мирился, ему было важно прежде всего, чтобы в доме был порядок, чтобы домашняя обстановка не мешала, а наоборот, помогала его сапожному делу, и о всяких самолюбиях и, так сказать, расстановке сил в доме он думал меньше всего, единственной реальной силой в доме считал самого себя.

Ничего отец, естественно, не мог изменить, он вошел в дедушкин дом как примак и не вмешивался в чужую жизнь. Но с первого же дня стал оказывать бабушке внимание и уважение, к которому в доме не привыкли, и это внимание и уважение само по себе звучало неким протестом. Мало того, отец заставил и мою мать относиться с уважением к бабушке, и она, не выпуская из рук бразды правления, все же, следуя влиянию отца, чувствуя некоторую свою вину перед ним, не желая его огорчать, не смела помыкать бабушкой, оказывала ей, как могла, внимание и, уж во всяком случае, не ссорилась с ней и не пререкалась.

Будни были суетливые, хлопотные: заказчики, покупатели, поставщики, работа, беготня, – особенно шумно было в базарные дни, когда приезжали окрестные мужики. Тихо было в пятницу вечером и в субботу. На столе белоснежная скатерть, тускло мерцают свечи, пахнет фаршированной рыбой и свежей халой, дедушка, широкоплечий, красивый, расхаживает по комнате и бормочет вечернюю молитву. А в субботу, в новом сюртуке и картузе, заложив руки за спину, медленно и важно шествует в синагогу. Я нес за ним молитвенник и бархатную сумку с талесом, мне еще не было тринадцати лет – год совершеннолетия, – и я шел за дедушкой, расшвыривая ногами камешки и пританцовывая на шатающихся досках деревянного тротуара.

Как я вам уже говорил, дедушка был старостой в синагоге, самым, можно сказать, уважаемым человеком в общине. Но был ли он истинно и глубоко верующим, таким, например, как бабушка, не могу сказать. Во всем облике бабушки было нечто религиозное, не ханжески богомольное, не исступленное, а проникновенно-религиозное, спокойное, даже отрешенное. В темной блузке, темной юбке с широким поясом, в черной вязаной, ручной работы, косынке, тихая, но представительная, она ходила в синагогу без молитвенника: молитвенник ее всегда лежал в синагоге, в шкафчике под сиденьем; дома на ночном столике у нее был другой молитвенник. Дедушка не был таким богомольным, не такой уж верующий. Для него религия была скорее формой его национального существования, праздником, отдохновением от трудов и забот, основой порядка, которым он жил. Он был прежде всего человеком дела, человеком слова, человеком конкретного дела, человеком конкретного слова. Конечно, есть сапожники, которые, сидя на табурете, суча дратву или забивая гвозди, рассуждают о мировых проблемах. Дедушка никогда не рассуждал о мировых проблемах. Если хотите знать, вообще не рассуждал – в истинном значении этого слова. Молча выслушивал других, все обдумывал и потом коротко и ясно объявлял свое решение. И если дедушка советовал клиенту сделать так, а не этак, изготовить таким способом, а не другим, то клиент делал именно так, как советовал дедушка, знал, что Авраам Рахленко никогда свои личные интересы не поставит выше интересов клиента. Он был общественный человек не из честолюбия, а потому, что в общественных делах мог проявить свою справедливость.

Был у нас такой богач Фрейдкин, имел мучное дело. Жил широко, на свадьбе его сына впервые в нашем городе появился автомобиль, специально выписал его из Чернигова или из Гомеля, не знаю уж откуда, любил пустить пыль в глаза. Но, как всякий богач, был прижи-

мист. Бедняки покупали у него муку, выпекали хлеб, халу, пирожки и продавали на базаре. Что они на этом зарабатывали? Гроши. Ну, а если прибыль гроши, то с чего такому коммерсанту составить оборотный капитал? А когда нет оборотного капитала, то приходится брать муку в кредит, в долг. И Фрейдкин, как всякий кулак, за этот кредит брал проценты. Беднякам деваться некуда, но иногда подпирало так, что долг отдавать нечем, а мука нужна, и тогда процент шел на процент, одним словом, кабала. На Старом рынке жила вдова по фамилии Городецкая, нищая, грязная, оборванная. Имела она то, что имеют все бедные вдовы, – кучу детей, таких же грязных и оборванных, как и она сама. Выпекала булки и продавала на базаре и, как я уже говорил, зарабатывала на этом гроши и на гроши должна была кормить, обувать и одевать своих детей. И она так задолжала Фрейдкину, что он перестал отпускать ей муку. Значит, помирай! И дети помирай! К кому она пошла? Конечно, к Рахленко.

Дедушка встает со своего табурета, снимает фартук, идет к Фрейдкину в лабаз и говорит:

– Проценты ты ей простишь, долг ее выплачу я, а два пуда муки ты ей выдашь бесплатно. Если же нет, то вот этой рукой я тебя держу, а вот этой вышибу все твои зубы вместе с коронками.

И Фрейдкин простил женщине проценты, выдал два пуда муки бесплатно, Городецкая снова начала торговать на Старом базаре пирогами и булками и, конечно, на весь базар прославляла дедушку; как все такие несчастные вдовы, она была женщина голосистая.

Отчетливо помню такой случай, хотя я был тогда совсем ребенком.

Рядом с нами жил шорник Сташенок Афанасий Прокопьевич, белорус, изготавливал то, что положено шорнику: сбрую упряжную, верховую, хомуты, постромки, шлеи, вожжи, седла, даже отделявал экипажи кожей и обивкой. Шорник – профессия родственная сапожной, разница только в игле: шов сапожника должен быть плотный, не пропускать пыли и воды, нитка должна полностью заполнять прокол, а шорник этим не связан и употребляет шило. Но материал у них один – кожа, и потому у дедушки с этим шорником Сташенком была некая кооперация: что не нужно одному, отдавалось другому, тем более – соседи. У дедушки был большой двор и большие сараи, и Сташенок этими сараями пользовался, у него было много кожевенного товара, и он полностью доверял дедушке. Они прожили рядом тридцать лет и за эти тридцать лет не сказали друг другу и тридцати плохих слов.

И вот однажды приезжают два цыгана, один дедушкин знакомый, по имени Никифор, другой незнакомый. Заехали во двор, поставили телегу, Никифор заказал у дедушки сапоги, взял какой-то товар у Сташенка, погрузил в телегу и выехал со двора. Но тут прибегают сыновья Сташенка и говорят, что цыгане что-то у них украли. Дедушка выходит на улицу, останавливает телегу и под сеном находит ворованное. Собирается толпа, хотят бежать за полицией, но дедушка запрещает – никакой полиции. Он приказывает отнести ворованное на место, потом спрашивает у знакомого цыгана:

– Как рассчитываться будем, Ничипор?

Тот молчит, что ему говорить?

Тогда дедушка ударяет его так, что Никифор летит на землю и изо рта и из носа у него идет кровь.

Второго цыгана, незнакомого, дедушка не тронул. Он бил не за воровство, а за предательство.

Вот такой человек был дедушка Рахленко.

Именно его усилиями в городе была построена новая синагога, когда старая пришла в ветхость и стала мала и тесна, поэтому его и избрали габбе – старостой в первый же праздник пурим. Вы знаете, что такое пурим? Это самый веселый праздник из всех праздников. По библейскому преданию, у персидского царя Ахашверона, или, по-нынешнему, Ксеркса, был министр Амман, который добился у царя согласия на поголовное истребление всех евреев.

Но жена царя, красавица Эсфирь, уговорила царя отменить указ и, наоборот, казнить мерзавца Аммана. В честь этого события и празднуют веселый праздник пурим, поют, танцуют, бьют в колотушки. И вот в первый же после постройки синагоги праздник пурим принесли в синагогу кресло, посадили дедушку и на руках несли его до самого дома: впереди шли люди, пели, танцевали, били в колотушки – такую честь оказали дедушке.

Население нашего города было смешанное, но дружное; жили в мире русские, украинцы, белорусы, евреи; тут же, неподалеку, шесть немецких сел, предки этих немцев, родом из Франкфурта-на-Майне, были поселены здесь Екатериной Второй. До этого, в семнадцатом веке, в здешние леса переселились раскольники-беспоповцы. А на железной дороге, в депо, работали поляки, высланные сюда после восстания 1863 года. В общем, население пестрое, но вражды, национальной розни – никакой! Достаточно сказать, что у нас ни разу не было погрома. После революции 1905 года, когда началась реакция, к нам приехали погромщики. Но на улицу вышел мой дедушка Рахленко с сыновьями, а каков он был, дедушка, и какие у него были сыновья, вы можете судить по этой фотографии – это не сапожники, а Ильи Муромцы! Вышли кожевники, мясники, столяры, ломовые извозчики, грузчики со станции, народ отборный, здоровенный, у кого палка, у кого топор, у кого дубина или оглобля; на помощь пришли деповские рабочие, тоже не с пустыми руками, и погромщики едва унесли ноги.

Но в нашем городе не было церкви. Представьте себе! Возникни наш город из какого-нибудь села, церковь была бы обязательно, в каждом селе есть церковь. Но город наш был сначала местечком, затем, когда провели железную дорогу и построили депо, стал железнодорожным поселком, из железнодорожного поселка превратился в город, и церкви не было. Молиться ходили в соседнюю деревню Носовку. Собирали, конечно, пожертвования на храм Божий, их собирали бы еще лет двадцать. Что делает дедушка? Он заставляет Циммермана, богатого торговца строительным материалом, Алешинского, владельца скобяного магазина, и других купцов отпустить материал на строительство церкви как бы в кредит, а потом деньги не брать. И церковь была построена. Когда был молебен ее освящения, то батюшка в своей проповеди упомянул про мещанина Рахленко, который хотя и иудей, но старания его угодны Богу.

5

Повторяю, характер дедушки был сложный, противоречивый, и вот пример – его отношение к собственным детям. У моей матери, Рахили, был замечательный голос. Надо вам сказать, что все Рахленки прекрасно пели, но когда пела моя мать, возле дома собиралась толпа, все слушали, один раз даже палисадник сломали. Как-то, еще девушкой, мама гуляла со своей компанией по лесу и запела. А в лесу, как я рассказывал, было полно дачников, и в их числе оказался профессор консерватории из Петербурга. Профессор слышит, как кто-то поет на весь лес, выводит трели, каких он не слышал даже в консерватории. Он встает со своего гамака, идет на этот голос и видит компанию молодых людей. Но при чужом человеке мама замолчала.

– Кто у вас пел? – спрашивает профессор.

Все молчат, потому что мама молчит. А раз она молчит, значит, не хочет признаться. А поскольку она не хочет признаться, то и другие ее не выдают.

Тогда профессор начинает разговаривать с каждым в отдельности, доходит до мамы и по ее голосу узнает, что пела именно она, на то он и профессор, чтобы догадаться.

– У вас исключительный голос, – говорит профессор, – таких голосов, как ваш, очень мало, а может быть, и вовсе нет. Вам надо ехать в Петербург, учиться в консерватории. Я сделаю для вас все.

Словом, обещает ей золотые горы, подводит к своей жене и дочери, те тоже восхищаются ее голосом, тоже уговаривают ехать в Петербург, тоже сулят золотые горы, жить она будет у них, ни в чем не будет нуждаться, станет знаменитой певицей.

Не знаю, собиралась ли мама в действительности в Петербург, но дедушке она сказала, что хочет поехать.

И дедушка ответил:

– Ехать ты можешь. Но если ты вернешься, то... Видишь этот топор? Этим топором я снесу тебе голову.

Сыновей дедушка иногда избивал до полусмерти, но единственную дочь свою, Рахиль, как я уже говорил, ни разу пальцем не тронул. И вот такая угроза. И как только он ее произнес, мама тут же решила ехать, хотя, как вы убедились, была не слишком большой любительницей ездить с места на место, даже Швейцария ей не понравилась. Но уступить? Это тоже было не в ее характере. Вероятно, она бы уехала. Но вскоре после этого случая в городе появился другой профессор, профессор Ивановский с сыном Якобом, и что произошло дальше, вы знаете. С того часа, как мама увидела моего будущего отца, никакой консерватории больше не существовало.

Свой голос мама сохранила и в зрелом возрасте, конечно, голос непоставленный, необработанный, как говорили специалисты, но выдающийся. Уже на моей памяти в наш город приезжала одна профессорша, на этот раз из Московской консерватории. Она услышала маму, явилась к нам домой и сказала:

– Я из вас сделаю певицу лучше Катульской. Не вы будете слушать Катульскую, а Катульская будет слушать вас.

Мама только посмеялась... О Катульской она вообще понятия не имела, и о каком пении может идти речь – уже дети взрослые.

Но как в свое время обошелся дедушка с ее талантом, вы убедились.

Старшего сына дедушки звали Иосиф. Он был первенец, и дедушка его очень любил. Но должен вам сказать, что никого из своих сыновей дедушка так не бил, как Иосифа. Бил смертным боем. И за дело. Во-первых, Иосиф не пожелал учиться. В дом ходил учи-

тель, некто Курас, очень хороший педагог по всем предметам, занимался с Иосифом, и сам дедушка занимался с ним, как простой школьник...

Да, да... Когда приходил Курас, дедушка подсаживался как бы из любопытства, решал задачки, писал сочинения, изложения, и таким образом научился читать и писать по-русски, получил кое-какие начатки образования. Согласитесь, для взрослого, делового, занятого человека это довольно, я бы сказал, самоотверженный поступок.

Итак, в дом ходит учитель Курас, у Иосифа есть способности, он все схватывает на лету, значит, учись на здоровье? Нет! Он, видите ли, увлекся голубями. Ничего, кроме голубей, не хотел знать, гонял их целыми днями; мальчишка, но у него лучшая в городе голубиная охота, и не просто охота, а предприятие, он с малых лет делал дела, и первым делом были голуби: менял, продавал, брал выкуп за пойманных голубей, – в общем, делал свой гешефт, и вся его жизнь была гешефт. Он вырос форменным бандитом, творил черт знает что, уму непостижимо: воровал у дедушки кожу и готовый товар, и у нашего соседа, шорника Сташенка Афанасия Прокопьевича, тоже воровал кожу, всех обманывал, играл в карты, в общем – разбойник.

Внешне он был похож на дедушку. Но у дедушки на лице было написано благородство, а у Иосифа из глаз торчала финка. На дедушку было приятно смотреть, на Иосифа – неприятно. Дедушка был умный, Иосиф – хитрый и вероломный, одним хамил, перед другими подхалимничал, лозунг его был такой: «Ласковое теля двух маток сосет». Умел улыбаться, и когда улыбался, то это был ангел, втирался в доверие к людям и потом их обманывал. Был у него дружок по имени Хонька Брук, такой же бандит, работал на дровяном складе, при складе была сторожка с чугунной печуркой, там собиралась их компания, играли ночами в карты, водили девок, пили водку. Со временем, я думаю, из них бы составила профессиональная банда. Но тут началась Первая мировая война. Иосифа забрали в армию, но и в армии он сумел устроиться: влюбил в себя жену капельмейстера, и она заставила мужа взять Иосифа в оркестр, выучить играть на флейте. Так, играя на флейте, он и провоевал всю войну.

Женщины его любили, липли к нему, он был красивый, удалой, умел одеваться, но с женщинами обращался по-свински. На этой почве возникали разные истории и конфликты.

Со своим соседом, шорником Сташенком Афанасием Прокопьевичем, мой дедушка очень дружил, хотя тот был моложе его на десять лет. Сташенки были хорошие, порядочные люди, и об этой семье речь впереди. Пока скажу только, что старшего сына Сташенка, Андрея, в августе четырнадцатого призвали в армию, и жена его, Ксана, осталась с грудным ребенком на руках, была, значит, солдаткой и довольно долго: Андрей вернулся из немецкого плена в восемнадцатом году. А Иосиф вернулся из армии в семнадцатом, и вот рядом красивая молодая солдатка без мужа, Иосиф, естественно, положил на нее глаз, заходил к Сташенкам за тем, за другим, останавливал Ксану на улице и через забор с ней переговаривался, – в общем, всем стало ясно, чего он домогается. Ксана на приставания Иосифа не отвечала, но городок маленький, южный, все на виду, все видят, как Иосиф вяжется к Ксане, и этот факт ее компрометирует, дает пищу судам и пересудам, как это бывает в провинции, где женщины любят почесать языки.

Между мамой и дядей Иосифом произошел разговор при мне: мама думала, что я ничего не понимаю, мне было лет пять или шесть. Но дети в этом возрасте очень понятливы, чутки и многое запоминают. Помню Иосифа перед зеркалом, он щеткой приглаживал блестящие волосы, смазанные бриллиантином.

- Ты стал чересчур лепиться к сташенковскому забору, – сказала мама.
- Не суйся не в свое дело, – ответил Иосиф, не оборачиваясь.
- Позоришь замужнюю женщину!
- Что еще скажешь?
- Ты мерзавец и негодай!

– Договоришься! – пригрозил Иосиф.

В тот же или на другой день стоит Иосиф у забора, разделяющего наши сады, и разговаривает с Ксаной. Подходит мать.

– Ксана! У тебя есть глаза? Возьми коромысло и огрей этого скота как следует, чтобы не привязывался.

В саду у Сташенков работали и другие женщины из их семьи, они это слышат и тоже подходят к плетню.

Я думаю, в эту минуту Иосиф был способен убить мою мать, но кругом женщины и дети, и у него хватило ума не затевать скандала. Обругал маму «дурой» и ушел.

И я отчетливо помню, как Ксана сказала:

– Спасибо вам, Рахиль Абрамовна!

После этого Иосиф перестал вязаться к Ксане, к Сташенкам не заходил, но эта история, к сожалению, ничему его не научила.

Была у нас беженка из Бессарабии, несчастная одинокая девушка, Иосиф стал с ней жить и, когда она забеременела, отослал ее в Гомель, наобещал, наговорил, она поверила и уехала. А Иосиф вслед за ней посылает в Гомель своего дружка Хоньку Брука с деньгами и говорит:

– Передай этой идиотке деньги и скажи, что я на ней никогда не женюсь, она у меня не первая и не последняя.

И Хонька, бандит, с удовольствием передал ей это слово в слово. Вы представляете себе, в те годы женщина незамужняя, беременная, к тому же одинокая; беженка в чужом городе, среди чужих людей! Чего греха таить, мы, мужчины, не святые, особенно когда мы молоды и нам везет на женщин. Но все же есть какие-то пределы, черта, через которую нельзя переступать. Увлёкся, сошелся, погулял, но обещать... Обещать и обмануть – не по-мужски. Не обещай! Если она тебя любит, она твоя без всяких обещаний. Мало того! Воспользоваться тем, что девушка одинокая, беззащитная, одним словом, беженка, и потом бросить на произвол судьбы, согласитесь, может только негодяй. А Иосиф был негодяй, думал только о себе, о своих удовольствиях, о своей выгоде.

Эту историю с беженкой я отчетливо помню, следовательно, она произошла уже после революции, может быть, году в восемнадцатом или девятнадцатом, я знаю ее не с чужих слов, сам был очевидцем события и всего, что произошло вокруг него. Произошел конфликт между моим отцом и семейством Рахленков, единственный конфликт, первый и последний, и после него, как мне думается, мы и переехали на другую квартиру.

Иосиф и мой отец были ровесники, однолетки, и, следовательно, в описываемый момент им было лет по двадцать семь, двадцать восемь, во всяком случае, не более тридцати. Но отец к тому времени уже имел четырех детей: после Левы, меня и Ефима на свет божий появилась Люба. А Иосиф был холостой, был делец, сапожное дело бросил, пошел по торговой части, я думаю, спекулировал, делал всякий шахер-махер, особенно при нэпе, вел разгульную жизнь и был большой ходок по женщинам. И, конечно, никаких точек соприкосновения между ним и моим отцом не было. Они презирали друг друга, но отец, человек деликатный, этого не показывал, а Иосиф, как хам, своего презрения не скрывал. Но оскорблять отца не смел, потому что была еще мать, она в любую минуту была готова встать на защиту отца, как наседка за птенца. Только мама была не курица, а ястреб, в семье ее все боялись, и дядя Иосиф боялся. Таким образом, между Иосифом и отцом стояла мать, готовая подавить любую размолвку, потушить любую искру. Но в то же время она не хотела и дружбы между ними, опасалась, что Иосиф вовлечет отца в свои амурные похождения; для Иосифа не существовало ничего святого, он с удовольствием насолил бы родной сестре, взяв ее мужа в напарники. И матери приходилось смотреть в оба, чтобы, с одной стороны, отец и Иосиф не враждовали, с другой, – чтобы не сдружились. О последнем она беспокоилась

напрасно. Иосиф был глубоко антипатичен моему отцу, тем более не могло быть речи о женщинах, отцу надо кормить детей, специальности нет, сами понимаете, какие тут женщины! Но от конфликта мать его уберечь не смогла. Конфликт произошел именно из-за беженки.

Никто, конечно, не одобрял поступка Иосифа. Но в том, как осуждал Иосифа мой отец и как осуждали Рахленки, была разница. Отец считал, что Иосиф обязан жениться на этой девушке. Как можно бросить на произвол судьбы собственного ребенка? Для отца долг был на первом месте, ради долга он мог пожертвовать собой, и он требовал того же и от Иосифа. Может быть, в нем говорила и солидарность: девушка была здесь такая же чужая, как и он сам, одинокая, без родных, без знакомых, и он жалел ее. Рахленки тоже осуждали Иосифа, но не за то, что он бросил девушку в таком положении, а за то, что сошелся с ней. Я слышал разговор по этому поводу между отцом и матерью, они думали, что я сплю, но я не спал и все слышал.

Мать рассуждала примерно так:

– Мало барышень из хороших семей, на которых можно жениться? Где были его глаза и где, спрашивается, был его рассудок? Не мальчик, слава Богу, почти тридцать лет! Нет, ему понадобилась именно эта несчастная беженка. И она хороша! Думала, наверно, подцепить завидного жениха, только не знала, с кем имеет дело, вот и влопалась, дура! Конечно, жалко будущего младенца, но что теперь можно сделать? Жениться? Какая у них будет жизнь? Разве такую Иосиф будет уважать? Она ему пара? Днем он будет ее колотить, а ночью спать с другими бабами. Это жизнь? Нет, женитьбой подлость не исправишь.

Так рассуждала моя мать, и так же думали Рахленки, может быть, с некоторыми вариациями: конечно, Иосиф негодяй, но жениться? Женитьба не выход из положения.

В этом разногласии, я думаю, вам видна разница между моим отцом и Рахленками. Он был человек долга, но романтик, витал в облаках, а они твердо стояли на земле и рассуждали реально, тем более ясно: что бы они ни думали, как бы ни рассуждали, Иосиф поступит по-своему и только по-своему, никакая сила не заставит его сделать так, как он не хочет. И дедушка тоже понимал, что ничьему решению, кроме собственного, Иосиф не подчинится, и потому молчал. Каким был дедушка в молодые годы, вы знаете. Я думаю, в окрестных деревнях немало гуляло парней и девок с раскосыми дедушкиными глазами. А о том, что в соседней Петровке от него у одной крестьянки был сын, которого он признал своим, об этом говорили как о безусловном факте. И думаю, что это было так. В своем далеком детстве я помню смутные разговоры на эту тему, помню поездки дедушки в Петровку, и ночевки там, и волнения бабушки, и потом какие-то денежные дела: дедушка помогал своей деревенской любовнице и своему побочному сыну. Так что к подобного рода делам дедушка относился довольно свободно и хладнокровно. Он жалел несчастную беженку, но понимал, что нельзя заставить Иосифа на ней жениться и не надо: ничего хорошего ни для нее, ни для Иосифа из этой женитьбы не выйдет.

Может быть, я не запомнил бы этой истории: был тогда совсем маленький, и таких историй у дяди Иосифа был вагон, – но историю с беженкой я запомнил потому, что был очевидцем скандала между дядей Иосифом и моим отцом, и этот скандал врезался мне в память.

Не знаю, что сказал отец Иосифу, не знаю, с чего началось, если отец что и сказал Иосифу, то, безусловно, в деликатной форме, но, повторяю, не помню, что именно. Но отчетливо помню разъяренное лицо Иосифа, в ярости он был ужасен, не помнил себя, мог убить человека.

Он кричал отцу:

– Швабский ублюдок! Ты смеешь меня учить? Кто ты такой? Паразит, дармоед, сидишь на нашей шее со своей оравой, бездельник, ничего, кроме детей, не умеешь делать, подбаш-

мачник, немчура проклятая! Есть наш хлеб тебе не стыдно, а мне ты смеешь колоть глаза какой-то шлюхой, учить нас приехал, убирайся в свою Швейцарию, швабский ублюдок!

И кидается на отца, а на него, как кошка, кидается моя мать, потому что Иосиф совершенно свободно мог убить отца, он был драчун, как все Рахленки, а отец не то чтобы драться, он в жизни никого пальцем не тронул, и мы, дети, ревом и тоже загораживаем отца, и на шум из мастерской являются дедушка и другие мои дяди, и, услышав слова «швабский ублюдок», дедушка отвечает Иосифу хорошую оплеуху. Но Иосиф, негодяй, кидается на родного отца, на старика, но тут вступают другие дяди, выкручивают Иосифу руки, и дедушка отвечает ему еще несколько оплеух, уже не за моего отца, а за самого себя.

В общем, произошла безобразная сцена, она врезалась мне в память, это был единственный случай, когда в дедушкином доме обидели моего отца. После этой истории наша семья переехала в другой дом. Может быть, не сразу переехали и, может, не из-за этой истории, а потому, что, согласитесь, если у тебя на голове, я имею в виду дедушку, сидят еще семь человек, то это чересчур, и надо обзаводиться собственным домом. Но тогда я был ребенком, это было давно, и мне запомнились только самые главные события, они спрессовались во времени, и поэтому история с беженкой, скандал с дядей Иосифом и переезд на новую квартиру соединились в моей памяти в одно событие или в события, которые следовали одно за другим, хотя на самом деле они могли быть отдалены друг от друга.

Мы купили небольшой домишко на соседней улице. Тогда, в гражданскую войну, все пришло в движение: люди разъезжались, съезжались, разбегались, перемещались, – и домик мы купили сравнительно дешево, небольшой домик: зала, две комнаты, кухня, кладовая, – купили удачно в том смысле, что наш двор почти примыкал к дедушкиному двору, я говорю почти, потому что рядом с нами стоял двухэтажный особнячок, в нем жил инженер железнодорожного депо Иван Карлович, из немцев, важный и строгий господин. У Ивана Карловича был большой фруктовый сад, мы перелезали через забор, пробегали по саду, опять через забор – и мы на дедушкином дворе. Иван Карлович был этим недоволен, выговаривал моим родителям, мама нам раздавала подзатыльники, на это она была мастер, а отец, как я уже говорил, никогда не тронул нас и пальцем. Иван Карлович очень сердился на нас, на детей, мы шумели, галдели, доставляли ему много беспокойства, он даже подозревал, что мы таскаем у него яблоки, – эти подозрения были небезосновательными. Однако моим родителям он оказывал большое уважение. Их все уважали, а отец, кроме того, оказался для него интересным собеседником, к тому же свой, фактически немец, они разговаривали только по-немецки, для Ивана Карловича это была хорошая практика, другого человека с таким чистым немецким произношением ему, естественно, было не найти. Иван Карлович снабжал отца книгами из своей библиотеки, тот много читал, через него и мы с братом Левой тоже пристрадались к чтению.

Но, извините, я отвлекся. В последнее время со мной это случается: старые воспоминания перемежаются с новыми мыслями. И чем больше старых воспоминаний, тем больше новых мыслей. Тебе кажется, что ты так думал тогда, а на самом деле так ты думаешь сегодня.

Итак, о чем я? О дяде Иосифе...

Бабушка говорила: «Будет несчастной та женщина, на которой Иосиф женится». Но, представьте, он женился очень удачно, отхватил жену по себе и даже больше, чем по себе. Жена его была зубной врач. А что такое Иосиф? Ничего, бабник, но женщины его любили. Однако врача была с характером, живо прибрала Иосифа к рукам и заставила обучиться зубопротезному делу. Как у всех Рахленков, руки у Иосифа были золотые, дело он освоил, изготавливал коронки, мосты, протезы и все, что требовалось для пациентов его жены. Дело золотое в прямом и переносном смысле. В городе были еще два дантиста, но жена Иосифа была лучшим врачом, а Иосиф не только хорошим техником, но и ловким, хитрым, отчаян-

ным и, хотя имел дело с золотом, ничего не боялся, тем более нэп, поставил дело широко, их зубо врачебный кабинет процветал. А когда нэп кончился, они свою лавочку прикрыли, работали в поликлинике, но дома кресло сохранили как бы для друзей и родственников. Но в таком городишке каждый друг или родственник. И у районного начальства тоже есть зубы. И когда зубы болят, то кое на что приходится смотреть сквозь пальцы. Тем более все для тебя делается быстро, хорошо, на высшем уровне. В поликлинике очередь, и, если приходит председатель райисполкома или начальник милиции, она его сажает в кресло, лечит и потом говорит:

– Приходите завтра вечером ко мне домой.

Продолжает его лечить дома, но денег не берет, упаси боже, он ее официальный пациент из поликлиники, никакой частной практики у нее нет, просто делает любезность, оказывает уважение, освобождает от необходимости сидеть в очереди или проходить без очереди, что, согласитесь, тоже не совсем удобно. Ну, а если такое же уважение она оказывает их женам, – это тоже естественно, жены – ее приятельницы: одна – врач, другая – учительница, третья – заведующая библиотекой – словом, районная интеллигенция, ее коллеги и друзья, их она тоже пользует дома и денег не берет. И если они ей делают подарки, приносят торт или коробку шоколадных конфет или привезут из Киева какую-нибудь тряпку, в этом ничего предосудительного нет. В общем, ее домашний кабинет был как бы филиалом поликлиники, по-семейному, по-простому, без формальностей, бюрократизма и волокиты. Но за этим фасадом скрывалась фирма, частным лицам все делалось за деньги, и если у них не было золота для коронок, мостов и протезов, то золото находилось у Иосифа.

Все догадывались, какие деньги загребает Иосиф с супругой, но Иосиф поставил дело ловко, придраться не к чему, и никто придраться не хотел. И хотя Иосиф был отчаянный, бесшабашный, жадный до денег, жена его была женщина осторожная, большая дипломатка и его приучила к осторожности. Иосиф ездил за золотом в Харьков, Киев, Москву, даже в Среднюю Азию, но никогда не попадался, все шито-крыто; у них были золото и драгоценности, все хорошо запрятано, и прекрасный собственный дом, и хорошая обстановка. Каждое лето они отправлялись в Крым или на Кавказ, Иосиф любил красивую жизнь, по-прежнему любил красиво одеваться, и жена чтобы была красиво одета, вкус у него был, не отнимешь, деловой, энергичный – тоже не отнимешь, и семьянин стал примерный. Но никому в жизни хорошего не сделал, все только для себя.

Что касается беженки, то, как я узнал много позже, дедушка разыскал ее в Гомеле, помог ей деньгами, и она вышла замуж, – в общем, дедушка устроил ее судьбу.

Второй сын у дедушки был Лазарь, полная противоположность Иосифу. Фантазер, человек непрактичный, философ, единственный среди Рахленков близорукий, наверно, оттого, что с детства много читал, даже ночью. Залезет на печку, зажжет керосиновую лампу и читает всю ночь. В итоге носил пенсне и слыл человеком образованным, хотя был скорее не образованным, а начитанным и начитанным бессистемно, читал все, что под руку попадется. Видя такую страсть к чтению, дедушка отдал его в Гомель, в гимназию Ратнера, была такая частная гимназия с казенными правами. Но оказалось, что настоящих способностей у Лазаря нет, а есть порок, совершенно необычный в семье Рахленков. Этот порок – лень. Родная мать колет дрова, а он сидит и читает газету, как будто так и надо. Добрый, не эгоист, но лень, понимаете, его одолела, фантазер, мечтатель и неудачник. Сапожник средний, дедушка палкой его выучил, но любил поговорить с заказчиками, поболтать, потрепаться на разные темы, потом работал в артели, на фабрике, сначала в цехе, потом в ОТК. Пригнула его к земле смерть жены. Жена его Тэма, нежная, кроткая, любила Лазаря, прощала ему непрактичность, ничего не требовала, жила на то, что есть. С такой женой Лазарю было хорошо, мог мало работать и много философствовать. Но при рождении ребенка Тэма умерла. Как Лазарь не покончил с собой – не знаю. На сына он не мог смотреть, маленького Даниила выкохал

дедушка, отдал в деревню кормилице, между прочим, в деревню Петровку, ту самую, где у него был побочный сын, к тому времени уже взрослый человек, отец семейства. В эту деревню Петровку дедушка чуть ли не каждый день ездил смотреть на внука, как он и что, чтобы все, значит, было в порядке. И вынянчил и вырастил его. Но у Лазаря совсем опустились руки, он стал попивать, и даже дедушка, не терпевший пьяниц, на Лазарево пьянство поглядывал сквозь пальцы, понимал – жизнь не удалась.

Третий сын у дедушки был Гриша. Ничего особенного про него рассказать не могу, ничего выдающегося в нем не было. Здоровый, как все Рахленки, первый драчун и забияка на улице, но справедливый: защищал слабых. А что значит защитить слабого? Это значит подраться с сильным. И он навешивал синяки, будь здоров! А когда мальчик приходит домой с синяками, у него спрашивают: кто? И мальчик отвечает: Гриша Рахленко. Кому жалуются родители? Дедушке. А дедушка в таких случаях не разбирался, кто прав, кто виноват. Раз на тебя пожаловались, значит, ты виноват. Ведь чужого сына он наказать не может, а своего может. И разговор короткий – ремень. И Иосифу ремень, и Лазарю, но те прятались, иногда на несколько дней удирали из дома. Гриша не удирал, дедушкиного ремня отведал предостаточно, но никогда не плакал, не просил прощения. Впрочем, он быстро остепенился и стал хорошо работать, к сапожному делу, вообще ко всякому ремеслу у него были способности.

Помню, дяди мои построили во дворе гигантские шаги, такое было тогда увлечение. Гигантские шаги получились настоящие, как в парках и садах, ребята сбегались со всего города. Что делает дядя Иосиф? Делает свой гешефт: берет с каждого по копейке. Дядя Гриша стоит в это время рядом, молча смотрит, как Иосиф собирает копейки, потом спокойно говорит:

– Покажи, сколько ты насобирал.

Берет у Иосифа монеты, пересчитывает и отдает мне:

– Пойди купи на эти деньги конфет и принеси сюда.

Я принес конфеты, и Гриша роздал их ребятам. Иосиф не посмел ему слова сказать, Гриша был хоть и младше, но сильнее его, а с сильными, как вы знаете, Иосиф не связывался.

В пятнадцатом году дядю Гришу мобилизовали в армию, и всю Первую мировую войну он пробыл на фронте, и не как Иосиф, не в музыкантской команде, а в пехоте, в окопах, настоящий солдат, был ранен, контужен; после войны вернулся и опять стал работать по сапожному делу. Со временем из него выработался мастер высокой квалификации, спокойный, трудолюбивый, немногословный и по части техники, очень, знаете, одаренный. В артели, потом на фабрике всегда числился в первых ударниках, в первых стахановцах, но не делал из этого карьеры, от всего отказывался, любил только работу. Когда фабрика расширялась и механизировалась, он внес много ценных рационализаторских предложений. К ним, как бывает, примазывались ловкачи, но дядя Гриша не обращал на это внимания, простодушный, не честолюбивый, интересы производства были у него на первом плане, истинный мастер своего дела, передовик в подлинном значении этого слова. Я лично ему многим обязан. Когда я и мой брат Лева стали работать с отцом и дедушкой, то именно дядя Гриша нас учил. И моего отца тоже терпеливо учил. И если я сказал о дяде Грише, что он был простой, ничем не выдающийся человек, то, может быть, как раз в этом и была его значительность. Он был человек труда и трудового долга, а на таких людях держится мир.

Все дедушкины дети при всех своих недостатках, иногда довольно крупных, все же что-то унаследовали от дедушки: Иосиф – деловитость, Лазарь – доброту, Гриша – трудолюбие, моя мать Рахиль – властность, волю, целеустремленность. Но ни в ком из них характер дедушки не повторился целиком и полностью. И только один сын поднялся до высоты дедушкиного характера, а может быть, и превзошел его, потому что попал в гущу великих исторических событий и был их участником. Этим сыном был дядя Миша, младший из дедушкиных сыновей и младший из моих дядей.

Мне уже за шестьдесят, и дяди Миши давно нет на свете, он погиб, когда я был мальчишкой, но он озарил мое детство незабываемым светом, дал мне нечто, что я пронес через жизнь. И он стоит перед моими глазами как живой: широкоплечий, бесстрашный, с чеканным загорелым монгольским лицом и добрыми, чуть раскосыми глазами.

Во всех Рахленках было что-то монгольское, а в дяде Мише особенно. Откуда это взялось? Честно говоря, понятия не имею.

Увлечением дяди Иосифа были голуби, Лазаря – книги, увлечением дяди Миши были лошади. Проскакать на коне в казацком седле, в кавалерийском седле, без седла – за то он готов был душу отдать: война, через город проходили кавалерийские части, становились на постой, дядя Миша дружил с кавалеристами и научился не хуже их самих управляться с лошадьми.

Именно с лошадей началась военная карьера дяди Миши. В восемнадцатом году с кавалерийским эскадром он ушел на фронт. Записался добровольцем, дали ему коня, и он провоевал всю гражданскую войну. Фронт проходил по всей России, и дядя Миша исчез из нашего поля зрения и превратился в легенду. Приходили от него редкие и короткие письма – представляете почту того времени. Письма не сохранились, из них мне запомнилась только одна фраза: «Домой не ждите, пока не возьмем Варшаву». Он служил в конном корпусе Гая. Корпус Гая наступал на Варшаву... У нас дядя Миша появился неожиданно, в кавалерийской шинели, папахе, шпорах, перетянутый ремнями, с шашкой на боку, герой гражданской войны, кавалер ордена Красного Знамени, тогда это много значило.

Разукрашен он был как картинка; может быть, мне это тогда казалось, а может, так оно и было в самом деле. Шашка, папах, ремни, шпоры, его кони, выезды – все это мне, прошедшему суровую Отечественную войну, теперь кажется несколько наивным. Но тогда это было в моде, было нормой: любили пощеголять, особенно у нас, на юге, и особенно такие рубаки и партизаны, как дядя Миша.

Надо ли говорить, как мы все, начиная с дедушки и кончая нами, внуками, гордились дядей Мишей, я уже не говорю о бабушке: она в нем души не чаяла. Сын сапожника Рахленко из маленького города на Черниговщине – и вот пожалуйста, такой герой, не какой-нибудь унтер-офицер, вроде Хаима Ягутина, а, можно сказать, красный генерал; в доме полно оружия, в конюшне стоят кони, каких не видел мир, и наш сосед, шорник Сташенков, готовит для них особенную сбрую. Мы ходили за дядей Мишей: куда он, туда и мы. Из нашего города вышли довольно крупные политические деятели, но мы о них ничего не знали, они были далеко – в Москве, в Петрограде, а дядя Миша был здесь, перед нашими глазами.

Он продолжал служить в армии, хотя жил в Чернигове. Кем он там был, мне не совсем понятно: то ли командовал какой-то воинской частью, то ли был членом Военного трибунала, не то тем и другим вместе. В общем, видный человек в Чернигове. И вот как-то он приезжает к нам в город на денек-другой повидать родных. Бедняга, зачем он приехал? Он за смертью своей приехал...

Разруха, не было твердой валюты, деньги считались на миллионы, а кому они нужны, эти миллионы? Бумажки! Крестьянин их знать не хотел. Район наш, как я уже рассказывал, скотоводческий, а как покупать скот, если крестьянин этих миллионов не берет? Мясники покупали скот на старые царские золотые монеты, а в то время это преследовалось как спекуляция золотом, три человека попались, сидели в тюрьме в Чернигове, и им грозил расстрел. К кому кинулись их родные? Конечно, к бабушке Рахленко. Ведь ее сын – главный начальник в Чернигове, неужели он не выручит своих, можно сказать, земляков, отцов семейств, допустит, чтобы их дети остались сиротами? И тут, как на грех, как нарочно, приезжает дядя Миша.

Бабушка ему говорит:

– Освободи этих людей.

Он отвечает:

– Я не могу этого сделать.

Но она умоляет, просит, требует, добрая женщина, но не понимает, на что толкает сына, не понимает, что ему грозит.

– Если их расстреляют, – говорит бабушка, – то нам здесь оставаться нельзя, мы должны отсюда уехать, должны бросить родное гнездо и скитаться не знаю где. Здесь я не смогу смотреть людям в глаза.

Тогда дядя Миша говорит:

– Если я это сделаю, то мне самому будет расстрел.

Но она ему не верит, думает, отговаривается, плачет, настаивает; ее разжалобили жены осужденных, она им обещала, и ей, стоящей в семье на втором плане, хотелось показать землякам, что ее слово тоже что-то значит, что ее любимый сын Миша все для нее сделает.

Если бы об этих разговорах знали дедушка, дяди, моя мать Рахиль, мой отец Яков, они, конечно, доказали бы бабушке, что она требует от Миши невозможного. Но, к несчастью, эти разговоры были с глазу на глаз, бабушка взяла с дяди Миши слово ничего не говорить родным.

Дядя Миша уступил, не смог отказать родной матери, освободил этих людей, пожалел, знал их, знал их семьи, знал, что у них дети, и, может быть, их преступление не казалось ему заслуживающим смерти. Не забывайте, ему было тогда двадцать два года. Мальчишка! Он видел смерть, но видел ее на поле боя. Он был солдат, а не судья, рубака, щедрый, бесшабашный, отважный, но добрый, справедливый, бескорыстный. В какой-то степени он был искатель приключений, но в хорошем значении этого слова; это был авантюризм доброго, храброго и отзывчивого сердца. Он мог стрелять, но не расстреливать. Свою доброту он поставил выше железных законов революции и должен был за это ответить.

Безусловно, он не был такой дурак, чтобы просто выпустить этих людей на свободу. Они подали на помилование, а дядя Миша – до решения ВУЦИК – как член трибунала отпустил их на поруки, чего единолично не имел права делать. И эти люди, выйдя из тюрьмы, моментально исчезли; подлость, конечно, но каждый спасает свою жизнь как может. Факт тот, что дядя Миша незаконно освободил трех человек из тюрьмы и позволил им уйти от наказания. За это его самого отдали под суд и приговорили к расстрелу.

Я думаю, с тяжелым сердцем приговорили. Все свои, друзья-товарищи, все его любили, а председатель трибунала Пиксон, латыш, души в нем не чаял, за такого, как Миша Рахленко, он мог отдать десятерых. Но это были железные люди, революционный долг для них был выше всего, и они приговорили дядю Мишу к расстрелу.

После вынесения приговора Пиксон пошел к дяде Мише в камеру. В тюрьме дядя Миша вел себя прекрасно: шутил, пел, голос у него был хороший, как у всех Рахленков. И вот латыш Пиксон, председатель трибунала, приходит к нему и спрашивает:

– Скажи, Рахленко, чего ты хочешь?

– У меня есть кое-какие долги, – отвечает дядя Миша, – сапожнику, портному, другим, хотел бы с ними рассчитаться.

Это была правда, дядя Миша был щеголь, шил у лучших портных и сапожников и лошадей своих содержал, как никто.

– Три дня тебе хватит? – спрашивает Пиксон.

– Мне одного дня хватит.

– Хорошо, я дам тебе лошадь, поезжай расплатись, не хватит дня – вернешься через три.

И вот Миша едет к себе на квартиру, там его ждет дедушка, они вместе едут по Чернигову, объезжают всех, кому дядя Миша должен, со всеми он расплатился, и дедушка ему говорит:

– Тут у одного моего знакомого стоят наготове лошади. Я дам тебе денег – уезжай. Раз Пиксон тебя выпустил, то именно это он и имел в виду.

– Нет, – отвечает дядя Миша, – этого я не сделаю. Я поверил людям, а они меня подвели. Но я никого подводить не буду.

Попрощался с дедушкой и вернулся в тюрьму.

Через два дня пришла телеграмма от Петровского, председателя ВУЦИК: отменить расстрел. Дядю Мишу помиловали, но разжаловали в рядовые, и он погиб при ликвидации какой-то банды.

Многие не поверили в это – смерть такого человека должна быть слишком очевидной, чтобы в нее поверили, он так часто рискует своей жизнью, что людям кажется: смерть его не берет. Ходили слухи, будто видели его в Крыму, во Владивостоке, говорили, что его отправили в Китай, советником в революционную армию Гоминьдана.

В эти слухи я не верю. Дядя Миша, конечно, погиб. Он не был ловким человеком, он был простодушен, как и то время, в которое жил.

6

Во время гражданской войны дом для меня отошел на второй план, я жил не домом, а улицей, околавался на станции, у воинских эшелонов, возле солдат и матросов, и это заслоняло то малое, что происходило в нашей семье. И мне тогда, может, неосознанно, было обидно, что мой отец не находит себе места в этом мире, среди людей, обвешанных пулеметными лентами, скачущих на конях и размахивающих шашками. Даже Хаим Ягудин, взбалмошный старик, и тот являлся на занятие отрядов самообороны и, точно какой-нибудь генерал, делал смотр, командовал: «На-пра-во!», «Нале-во!», «Кр-ру-гом!» – и его команды выполняли, как там ни говори, старый солдат, заслуженный унтер-офицер, с рыжими фельдфебельскими усами, седым бобриком и бритой красной физиономией. Но когда он попытался ударить парня палкой за то, что тот не так быстро выполнил его команду, ему этого не позволили: не царское время, солдат бить не положено. Это я к тому говорю, что все, даже ничемный старик Хаим Ягудин, находили свое место в новом мире, а мой отец оставался тем, кем был: домашний человек, неустроенный, без профессии, без настоящего дела, обремененный пятью детьми. Да, да, пять человек! В сравнительно тихое для нас время Первой мировой войны мама не родила ни одного ребенка, все думали, на нас трех, на Лева, мне и Ефиме, все кончено; и вот в семнадцатом – Люба, ровесница Октября, в девятнадцатом – Генрих, еще двое, а с нами тремя – пятеро. И с такой капеллой отцу уже никуда не подняться, да и капелла никуда не собирается: началась новая жизнь, со старым режимом покончено, все равны, все советские люди, и о какой Швейцарии может идти речь, мы у себя на родине.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.